

A 95



Имант
Аузинь

Imants Auzīns

Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока.

Количество предыдущих выдач

*«Библиотека
советской поэзии»*



Michael Aizuriel
Actor
TOMORROW MORNING

С(ЛАТ)2
А 93

Б. О.

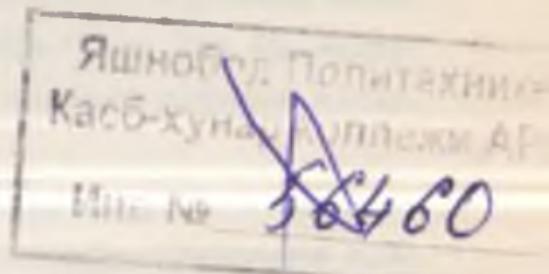


Имант Аузинь

СТИХИ

Перевод с латышского

Октябрь
1989



Моенва



ББК 84Лат7

Л93

Редакционная коллегия:

Исаев Е. А.,
Кешоков А. Н.,
Новиченко Л. Н.,
Рождественский Р. Н.,
Дементьев А. Д.

Художник
А. Серебряков

А 4702340200-152 116-87
028(01)-87

ФЭН и ОО
заказ № 374
(С) Состав, переводы, от-
меченные в содержа-
нии *. Издательство «Ху-
дожественная литерату-
ра», 1987 г.

НЕМНОГО О СЕБЕ И СВОЕЙ РАБОТЕ

Во времена моего детства народная латышская песня еще передко звучала в нашей повседневной жизни. Она была выражением радости или печали, она отражала многовековую мудрость народа... Тогда мы, конечно, не знали, что являемся чуть ли не последним поколением, растущим в той среде, которая создавала народную песню; что мы чуть ли не последнее поколение, для которого дайна была как бы воздухом, а не подлежащим освоению вековым наследием.

Не знали и того, что для многих из нас поэзия была, есть и будет главным источником прекрасного, главным искусством; что в этих беднолатыши деревеньках родились и растут многие наши латышские поэты, а также целые поколения читателей, любящих поэзию, преданных ей.

По время наше не было легким. Напротив: латышский народный поэт Олар Вацнетис (1933—

1983) позднее писал, что у нашего поколения не было детства, поэтому-то мы всю жизнь искали его в поэзии... Это было время войны, немецкой оккупации и непростое послевоенное время. Всё в эти долгие годы в латышской литературе наиболее убедительно выражала поэзия. Может быть, мы нашли путь к поэзии и взаимопониманию с многими и многими читателями еще и потому, что в суровые годы войны поэзия была чуть ли не единственным доступным нам и близким искусством. Какие же еще впечатления искусства доступны были большинству людей в те годы?

Мои первые строчки родились очень рано: в дни, когда оккупационные власти арестовали отца, работника советских учреждений, когда начался его путь в концентрационные лагеря Латвии и Франции. В этих поэтических строчках, написанных мной в духе стихотворений Райниса или баллад Плудониса, которые я непрерывно повторял, расхаживая по притихшему вдруг и такому пустынному хутору, говорилось об отце, покоящемся в далеких болотах.

Вскоре последовали другие тревожные события, этой тревоги хватало с первого до последнего дня войны, да и потом тоже. До меня, тогда еще маленького мальчишки, время от времени доходили печальные вести, их уже способен был воспринимать мой детский разум: в начале войны в Риге расстреляли дядю, без вести пропал

мой двоюродный брат — курсант мореходного училища (так я его никогда и не видел)... за укрытие подпольщиков были арестованы в Риге тетя и двоюродная сестра (путь их ведет в Германию, в концентрационные лагеря)... наш дом все чаще по почам посещали партизаны — они приходили за продовольствием, нужными им снаряжениями, в поисках укрытия... в одном из боев, прикрывая отступление партизан, погиб двоюродный брат отца Вилис Аузинь — его погодило наше лесное болото... Мать то и дело ходила то в тюрьму, то в лагерь — с продуктовой передачей для родных и близких. Мной постоянно влаждала густая тревога, я чувствовал себя все более одиноким — и часто находил утешение в сочинительстве, все ходил и бормотал про себя стихотворные строки...

Это еще далеко не полный перечень событий такого рода в нашей не очень-то большой семье, в которой, между прочим, не было профессиональных революционеров, членов партии.

Правда, отец после ульманисовского переворота в 1934 году был одним из двух арестованных за прогрессивные взгляды в нашей волости, а может быть, и за корреспонденции в местной левой газете. В молодости отец писал и стихи.

Отец работал в советских учреждениях и по окончании войны возглавлял первое в нашей волости кооперативное хозяйство. После возвращения из лагерей смерти ему с оружием в руках

приходилось защищаться от тех, кто в те времена скрывался в лесах. Таких были сотни... Отец мой остался в живых, а многие из его близких друзей погибли. Эти люди были и моими друзьями, потому после траурных митингов я все чаще записывал в свой дневник стихи.

Я не раз беседовал с поэтами своего поколения о тех тяжелых годах. Можно сказать, что почти у всех поэтов моего поколения детство и отрочество пришлись на военные годы и были отмечены печатью трагических переживаний. В известной мере это послужило толчком к поэтическому творчеству.

Ну, и разумеется,— юношеская влюбленность. И любовь. И конечно, природа и крестьянский труд, который становился для нас чем-то главным, определяющим нашу жизнь. Со всем этим связан второй источник нашей поэзии: преобразования в латышской деревне, где вместо существовавшего веками жизненного уклада в дни нашей молодости утверждались новые отношения.

Да, многие из нас стали горожанами в первом поколении. Мы оканчивали вузы, но десятилетиями сохраняли прочную связь с латышской деревней, где жили и работали наши родители и родственники. Моя мать, уже в возрасте семидесяти с лишним лет, никак не хотела оставить работу в своем колхозе. Она была удивительным человеком и казалась мне воплощением тысяче-

летней крестьянской мудрости, упорства, трудолюбия. Благодаря родителям мне удавалось сохранить живой контакт с деревенским трудом, природой, богатыми языковыми пластами, меняющейся социальной ситуацией и связанными с ней людскими судьбами.

Рост городов, индустриализация деревни, миграция — все эти процессы также, по-моему, важный жизненный фон для нашего поколения и моей поэзии, ибо всем нам непрестанно нужно было решать, какие ценности из этой исчезающей среды необходимо сохранить и нести дальше. Таких ценностей у каждого народа оказалось немало.

И еще один существенный момент: наше поколение пришло в поэзию в довольно благоприятный период — это была середина пятидесятых годов. Думаю, творчество для нас, несмотря ни на что, было и остается прежде всего — счастьем, огромной увлеченностью, большой мечтой, в которой мы не разочаровались.

Немало плодотворных импульсов мы получили от своих сверстников из других социалистических республик, с которыми дружили, которых переводили и переводим по сей день. Помогал нам и широкий круг вдумчивых, заинтересованных читателей, доброжелательные коллеги, товарищи. Может быть, это останется навсегда лучшим из всего, что мы в жизни пережили.

Вот они, те основы, которые способствовали

моему поэтическому творчеству.

На латышском языке вышло четырнадцать моих поэтических книг (первая в 1961 году) общим тиражом около 250 тысяч экземпляров; изданы две книги зарисовок и две книги размышлений, эссе, рецензий. Довольно часто я писал о поэзии в республиканской и всесоюзной печати. Четыре мои книги изданы на русском языке, циклы стихотворений публиковались на многих других языках.

Я переводил русскую, украинскую, литовскую, чешскую поэзию и поэзию других народов.

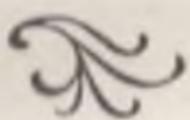
Были в моей жизни и почести, и награды, и неприятная критика, и всяческие недоразумения.

Что еще? Я окончил Латвийский государственный университет, долгие годы — с перерывами — работал в редакциях республиканских газет и журналов, в издательстве «Лиесма», два года был вторым секретарем Союза писателей Латвии.

Родился в 1937 году.

Имант Аузинь

Стихотворения



«Десятая мелодия»

1973

Я ПРИШЕЛ ИЗ ЛУГОВ

1

Я пришел из лугов,
где пух одуванчиков плавал,
Я пришел из лесов,
оловых лесов остроглавых.
С хутора, где сосед
гладил кота разноглазого
Я пебылицы свои
правдоподобно рассказывал.
Стояли у самой дороги
две законтельские кузницы,
А рядом источник чистый
бил водой родниковой.
Прогрохотали мимо
войны тяжелые гусеницы,
Ее железные, кованые,
дробящие мир подковы.
В рощах апрельских соки
стволы пробуравить сумели,
На сенокосе девчонки
в руках у мальчишек млели,

Светились почами августа
лины от звездной пыли,
А петухи огромные
шиорами коршунов били.

2

Пришел я с речки извилистой,
которая лес огибает,
Пришел от стола, где цену
хлебу ржаному знают.
Всех мальчишек знакомых
война раздавила гусеницами —
Новых выковать можно
только в сказочных кузницах...
Кроны деревьев высоких
ветер чуть-чуть тронет,
Видно с вершин их полсвета
как на ладони.
Говорили взрослые:
«Парень, не балуй!
Дуй отсюда лучше, парень,
дуй...»
Дрался поздней осенью
и зимою тоже,
А потом по вечерам
приходил все позже.
Словно ход кротовый,
ночь темна осенняя,
Первых поцелуев
пришло наваждение...

Я пришел с той вырубки,
 где зноем оналило,
 С речки той извилистой,
 где плоты сливали
 И слова тяжелые
 яблоками падали,
 И слова, как бабочки,
 в синем небе плавали.
 «Где это?» — ты спросишь.
 Где гроза гремела,
 Где в промытом небе
 радуга звенела,
 Где почами трактор
 сопло таращел,
 Где травою росной
 мир не оскудел.
 Там, где мать бессрочно
 сына подкидает,
 Там, где жены почью
 по мужьям рыдают.
 Там, где в полдень душный,
 в клети или в доме,
 Илемя молодое
 поднимает гомон.
 Будут у них зимы
 белою обновой,
 Будут у них почи,
 словно ход кротовый.
 И придет к ним тоже
 поцелуйный бред,
 А потом исчезнет
 через пару лет.
 И они однажды
 явятся и скажут,

Как уже сказали
мы
однажды:
«Серебрились в августе
лины звездной нылью,
Облака и аисты
в синем небе плыли...
Мы пришли оттуда,
где гроза гремела,
Где в промытом небе
радуга звенела».

ПЕСНЯ О СЕЛИИ

Таволги запах, запахи сена,
И облаков карусель,
И робкая лань бредет по росе,
По зеленокудрой Селии.

Кто может сказать, что затеряно здесь:
Горе? Радость? Веселье?
На встречу дрожащей в почи звезде
Несет свои села Селия.

Ты стени видел и видел горы,
Заполонившие сердце,
Но здесь твоя радость и здесь твое горе,
Крик птицы в почи: «Селия!»

Счастливые годы сменялись тоской,
Но как бы они ни летели,
Нисходят мир на тебя и покой
В твоей колыбели, в Селии.

Сто запахов леса, сто запахов трав
На вырубке зпойной осели.
Немного на свете таких правд,
Как правда моей Селии.

НЕМНОГО О ДАЛЯХ

Был август.
Только не было покоя.
Был далью болен я. Искал ее упорно.
И вот пришел.
Но что это такое?
У дома куры собирают зерна.
Колосья клонит ветер на бегу.
В пруду стирают женщины белье.
Мужчины ксят сено на лугу.
«Где даль найти я все-таки могу?»

Мне показали.
И... о чудо!
Я только что пришел оттуда.



Режет мать ржаной каравай
Под нашими взглядами цепкими.
Мать говорит:
— Ешьте корку,
Вырастут зубы крепкими.

Послевоенный скупой ломоть
Тоньше, чем детский палец,
А Жучка и Барсик глядят в рот,
Как будто во рту исчезает заяц.

Лампа карбидная страшно шипит,
Отец о жизни толкает,
О почью разграбленном магазине,
О косях — они без ~~пса зовущие~~
О детях — им бы ~~куяшнориймы~~ БИОМЕХНИКИ АРМ

А мама режет ржаной каравай
Под нашими взглядами цепкими
Мать говорит:
— Ешьте корку,
Вырастут зубы крепкими.

4941-2 17 ОРГ ИЕФ
ЦБС Уенинского
и Хамзинск.р-нов
г. Ташкента

...Вьюжатся годы шестидесятые.
Время промчалось вспугнутой серною,
А с ним промчались —
Детские радости,
Кони, и Барсик, и Жучка верные.

И рощи, где пули свистят предательски,
Колхозные склады, что почью сгорают:
Огонь и вода там отнюдь не приятельски
Наши ржаные грызут караваи.

Время могилы укрыло ветками.
Другие матери хлеб нарязают
Под детскими взглядами цепкими.
Мамы твердят:
— Ешьте корку,
Вырастут зубы крепкими. Крепкими!

В БОЛОТЕ

За клюквой, что ли, пойти,
пока болото листва не совсем замела?
На кочках мерцают красные капли.
Серые ветры бесятся.
Вот уже двадцать лет в этом болоте лежат
парни из моего села,
скошенные пулеметом эсэсовцев.

Когда-то в болото это
мечелосцев загнали жители Селии.
Доспехи, как камни,
мечелосцев в трясину тащили.
Над пими
черные тучи висели
и волки выли.

Проходят годы. Молчит оружие.
Весной омывают землю дожди.
И жизнь распускается клейкими листьями.
Пришельцы нам рай на земле обещали.
Сиди и жди.
Лишь клюква, как капли крови,
на кочках болотных выступила.

И не вознесут мою душу к небу от лихолетий
чайки — в болоте этом пабухла моя душа.
Мы — белокожие негры долгих семи столетий.
Вост северный ветер, тяжелые льдины круша.

Осмейна песня. Клян во рту.
Забиты землею колодцы глаз.
— Кто ты такой?
— У болота спроси! Оно расскажет о нас.—
А в небе странном плывут
изувеченные сосны и ели.
Двадцать лет стоят они без коры и без хвои.
Вы, кажется, для музея один экспонат хотели?
Берите — лесам Латвии сосен хватит с лихвой.

Здесь лежат наши парни.
Здесь наших мужчин найдете.
Над ними идут дожди. Ветры над ними свищут.
И я, как флаг, поднимаю болото.
Где вы найдете что-либо чище!

СОРОКАЛЕТНИЕ

Проходят мимо мальчики с футбольными мячами,
Кокетливые девочки идут мимо меня,
И шествуют седые бабушки и деды...

По где же вы,
сорокалетние?

Я не встречаю вас почти,
сорокалетние.

Вам в сорок первом было восемнадцать,
Вам в сорок первом было девятнадцать,
Потом у многих не было уже
Ни возраста, ни стонов, ни улыбок.

Когда мои плечи под тяжестью опиут,
мне хочется крикнуть:
«Имею ли я
право на слабость?»

Имею порой,
ибо
где вы,
кому полагается
жизнь держать на своих плечах?
Где вы?

— У края поля, под белыми песками?
— Под сильными корнями лежите вы

у соседей?

— Под зыбкими руками седой волны
холодной?
— Или под серым камнем, что на опушке
леса?

Я вижу вас:

с протезами — вместо ног,
с черными повязками — вместо глаз,
со стержнем металлическим

вместо позвоночника,

в тележке инвалидной — вместо трамвая
и с порванными струнами — вместо нервов...

Отцы, где вы, когда нам бывает трудно,
Отцы, где вы, когда мы хотим припасть
Хотя бы на мгновенье к плечам могучим
И выплакать минутное бессилие свое?

Отцы, останьтесь с нами!

Сыны ваши не трусы,
придите, даже если
придется из могил
вам встать.

Останьтесь в смерти
для нас, отцы, отцами!

ЗЕМЛЯ, ТВОЙ ПОЦЕЛУЙ И КРАСНЫЙ ОГОНЬ В ПЕЧИ

Когда, смешав в круговорти выюжной
Землю и небо, метелица мчит,
Чтоб не устать, немногое нужно:
Землю эту,
Твой поцелуй
И красный огонь в печи.

Сегодня мороз. И падает с клена
Синичка — на мерзлое ложе.
Не похваляйся, не завирайся,
Не в силах сделать, сиди и молчи...
К жизни вернуть, отогреть может
Эта земля,
Твой поцелуй
И красный огонь в печи.

Вечные звезды! Течет пад пами
Сама бесконечность — причина причин.
И держит нас силовыми полями
Эта земля,
Твой поцелуй
И красный огонь в печи.

И приходит зрелость. Придет и старость.
И, как заклинанье в глухой夜里,
Шеину тихонько, что мне достались:
Эта земля,
Твой поцелуй
И красный огонь в печи.

Никто, никогда тебя не лишил
Того, что в тебе еженощно кричит.
Все возьмет,
Все отдаст,
Все решит:
Эта земля,
Твой поцелуй
И красный огонь в печи.

* * *

Бывает так:

все тех же улиц лица,
все те же голуби,
все тот же гул столицы,
магнит окна
и зыбкий силуэт.

Бывает так:

(не давит бремя лет)
я в листопад, и в январе, и в мае
все тем же гостем у порога маюсь.

Бывает так:

вокруг совсем не Рига,
а коридор, где появились мигом
соседок любознательные уши
(пст, пе подслушивать,
а чуточку послушать).

Бывает так:

о бог и божья матерь,
на три недели разговоров хватит:
каков он, гость,
умен? Не сплоховал,
прощаясь, он тебя поцеловал?

Бывает так:

вот лестничная клетка,

ты, словно яблони расцветшей ветка,
и на плече ладонь твоя лежит...
Все изменилось:
нет ни мук, ни лжи.

Бывает так:

все тех же улиц лица,
все те же голуби,
и тот же гул столицы,
магнит окна,
и зыбкий силуэт.

КОГДА Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

Когда я тебя люблю, то воробьев люблю:
пуской воробы чирикают,
чтоб нам с тобой помолчать.

Когда я тебя люблю, то даже дожди люблю:
чтоб не было очень сухо,
должны
дожди в водостоках ворчать.

Когда я тебя люблю, даже окна в трясицах люблю:
летом капавы пересыхают —
к болоту приходят олени
пить.

Когда я тебя люблю, даже кошек терплю,
понимаю —
кому-то ночами
надо мышей
ловить.

Когда я тебя люблю, мне кажется, что ничуть
ольха, ей-богу, не хуже,
чем пальма и кипарис.

Когда я тебя люблю и слышу твой голос тревожный,
мне кажется, что на свете
даже жить можно.

НОЧЬ ПЕРЕД СТРАННЫМ ЮБИЛЕЕМ

На сотни верст — лишь белый снег вокруг.
Так десять, десять, десять лет подряд!
Мгновенья взаперти. Но в эту ночь, мой друг,
Пью за тебя, когда другие спят.

Чу! Ночь звучит. В пей кто-то ждет меня.
Твоя любовь — вот все, что в жизни было.
И зря я звезды в озеро ронял,
Все это душу лишь разбередило.

Спасибо! Наконец-то ты пришла.
Я гордый. Да и ты горда безмерно.
Я жил и не стонал. Скажи, как ты жила?
Надеюсь, позабыть меня сумела.

Все снег и снег. Безмолвье снегопада.
Гроз и ручьев весенний образ новый.
За панику выдержку достойная награда:
Под снегом погребенные просторы.

Светает. Скоро утро. Грустно мне.
По днем по моему лицу не скажешь,
Что ночью был наш странный юбилей,
Что мы прошли сто километров каждый.

НЕЧТО О ЛЮБВИ

Любовь, ты бесконечно велика!

А ты?

Ты, хрупкая, молчишь, шагая рядом.
Пальтишко тонкое и щеки как ледышки.
Банальная затасканиая шутка
О жарком сердце и руках холодных...

Джульетта, Дездемона, Беатриче!

«Клянусь любить тебя и помнить вечно...»
Наивные пустые речи!
Я сам не вечен —
Где уж там века?
Единственная мера — годы.

Ах, Гретхен! Спидола! Ах, Байба!
Лишь вами паши головы полны,
Как небо грозовое облаками,
Как языками огненными печь.
А завтра утром надо па работу,
И, как назло, будильник бараблит...

Звезду подай! Рог месяца сюда!
Сосни в вулкан макни, пиши поэмы!
Любимая, ты хочешь выпить чаю,
А может, попросту поесть котлет с
картошкой.

Растерянный стою на перекрестке:
Джульетта катит детскую коляску,
Бежит с кефиром худенький Ромео,
Отелло на зиму везет картофель.

Так без конца.
Дуэль отменена.
За электричество опять не заплатили.
Есть туфли импортные в магазине,
И Яго рвется очередь занять.

Любовь, ты бесконечно велика!
Я у троллейбуса тебя встречаю.
Ты говоришь возвышенно и звучно:
«Привет! А не сходить ли пам в кино?..»

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОСТИГАЕТ ЯЗЫК

Идем полевой дорогой
Я и мой юный спутник.
Показав ему желтый цветок,
Я говорю: «Это — лютик».

— А почему? — он спрашивает.
— Потому что цветет желтым.—
Он соглашается и повторяет:
— Лютик. Цветет. Желтым.
А кто это?
— Это — корова.
— Корова?
А почему?
— Потому что она молоко дает.—
Он соглашается и повторяет:
— Корова. Дает. Молоко.
— А то, что на небе,—
Солнце.
Потому что светит оно и греет.—
Он соглашается и повторяет:
— Солнце. Светит и грет.

И с этой минуты,
Мгновения этого
Он мне поверил:
Цветет лягушка,
Корова дает молоко,
А солнце светит и греет.
Но он мне поверил бы даже,
Если бы я сказал:
— Вот этот желтый цветок — корова,
Он светит и очень теплый.
А то, что мычит,— называется лягушка,
Потому что желтым цветет.
А то, что на небе,—
Солнце,
Оно молоко дает.—
Но через час
Я бы услышал победное:
— Это неправда,—
Сказала мне бабушка!

Но можно солгать и коварнее,
Так,
Что будет он верить годы,
Но все же когда-то узнает,
Что я обманул его.
Явится лет через десять иль двадцать
И скажет достаточно определенно:
— Этот цветок не корова, а лягушка.
Лягушка — желтым цветет.
А то, что мычит,— корова.
Она молоко дает.
А то, что вверху,—
Солнце,
Светит оно и греет.

В ВЕЧЕР ЛИГО

Пойдем, дочурка, на речку; близится
вечер Лиго; пойдем вдоль полей и
луги; мимо вельмож Египта —
истов; мы аира сегодня парвем
много;

Как хороша дорога!

Ты будешь стоять па круче,
среди огромных ромашек,
а я побреду по речке,
где ямы, пиявки и щуки,—
я, право же, должен брести.

Ты ждешь меня и смеешься на круче,
аир — не твоя забота,
ты — девочка, я — твой папа,
а наше вода не страшна.

И вот — уже вечер Лиго;
коровы венками украшены;
у нас охапка аира
и — ужас как много ромашек!

А нам еще надо с тобою
сходить наломать березок;
отец пригибает верхушку,
ты смотришь с опаской —

Сломится?

Копечко! Березка — наша,
березка с песчаных пасыней,
с этих курганов Латвии,
где густо взошла полынь,—
мы сделали все честь честью,
аминь!

Дочурка, ты станешь взрослой.

И даже пана не знает, куда
тебя жизнЬ забросит.

И если когда-нибудь трудно будет,
пусть дочурка моя не забудет,
что с детства ей было необходимо,
Чтоб вечером в праздник Лиго
кто-то пошел за аиром в луга,
надо, чтоб лошади были и куры,
зайцы были и чтобы —
любовь...

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЛЕТО

Что за дикая пляска всклокоченных туч!
Как причудливы красные птицы заката!
Я иду через лес, он темист и могуч.
Нет возврата.

Жить вот так — в этом сладкая, сладкая жуть!
Днем работать, а вечером в книги зарыться:
И умом понимать, но не верить ничуть,
Что я медленно гибну, когда мне за тридцать.

Клетки тканей и мозга готовят разгром,
Копят яд там, где должно копить обновленье.
Как-то глухо-бесстрастен грохочущий гром,
И знакомая песня — уже в отдаленье.

Я, пожалуй, согласен жить в будничном мире
И утрами не грезить туманно и сладко.
Я порою готов заключить перемирие,
Словно сил уже нет и проиграна схватка.

Плачь, о лето скучое! Я грустен, во мне
Гибнет все, что копилось чредой поколений,
Каждой клеткой я словно сгораю в огне,
И не радуют больше зарницы мгновений.

Да, я знаю; живое не может посметь
Опровергнуть законы владычицы химии.
Как смешно и пичтожно короткое: смерть,—
Как сменяемо все и как все распылимо.

Вряд ли стоит себя по ночам утешать:
Я травой прорасту у знакомых порогов.

До последнего часа я буду дышать.
Это счастье.
И глупо страшиться итогов.

ТРАКТАТ О БЕССМЕРТИИ

Бессмертие, умоляю — мишуя меня!

Отврати свой лик, довольный и пухлый.
Ну чем мы займемся на исходе дня,
Я, миллионолетний старик,
И моя миллионолетняя старуха?

Потащимся в гости к миллионолетним детям?
Но память безрадостна, память мертвa,
И в миллионный раз, в миллионном столетии,
Пожухнет примятая погами трава.

Бессмертие, умоляю — мишуя меня!

Отврати свой лик, довольный и пухлый.
Миллионолетнему старику
И миллионолетней старухе
Нечем заняться на исходе дня...

Иду я лугом. В лицо — ветер.
К людям иду, как звезды, несметным.
И, услышав бесхитростный лепет ребенка,
Я хочу к смертным.

СКВОЗЬ ЗАПАХ ЯБЛОК

Кружатся листья, выюжатся листья
ошуюю и одесную.
Сквозь запах яблок,
сквозь запах яблок,
сквозь запах яблок иду я.

Яблоки всюду, в амбарах и в клетях,
белым наливом весь мир забит.
Кто мне докажет, что в энном столетии
запах яблок не будет забыт?

А ныне —
кружатся листья, выюжатся листья
ошуюю и одесную.
Сквозь запах яблок,
сквозь запах яблок,
сквозь запах яблок иду я.

Запахом полон день этот светлый.
Клетке грудной его трудно вмещать.
Сколь многое можно любить на свете
и нужно еще защищать.

Пишу, как воззвание, резко и точно,
чтоб врезались в душу слова глубоко,
о дивном плоде, ароматном и сочном,
что славно зовется яблоко.

УТИЛИТАРНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Спит береза в белой бурке,
Синим льдом отражена.
Где же, муж, твоя дочурка?
Где твой первенец, жена?

Две кровати рыжей масти.
Шкаф. Магнитофон «Весна».
Дом прекрасен. Дом безгласен.
Муж тосклив. Жена грустна.

Прилетают птицы с юга —
В гнездах высиждают птенцов.
Где же дети — мост отсюда
В чудо будущих веков?

Может, люди мне помогут
Разгадать загадку дней:
Разве много, слишком много
На планете латышей?

Тает спег, и всходит семя,
От цветов в лугах желто.
Завтра кто засеет землю?
Ригу будет строить кто?

* * *

За окном всю ночь грохочет море.
И чего ему не спится, а грохочется?
Сердце в споре с горем — переспорило,
И опять, как прежде, сердцу хочется:
Жизни — новой, счастья — очень древнего.
Будто вновь фиалки опьяняют.
И бредет сосед заснувшую деревнею,
Чуть подвыпив. А собаки лают, лают...
Будто ждут меня на берегу залива,
Чтоб пойти потом росу разбрызгивать,
И в лесу, где серны спят пугливые,
Светлячков мигающих разыскивать.
Будто о подойник молоко позванивает,
Конь проснувшийся в конюшне завздыхал,
Будто после долгого июльского гулянья
Ждет меня душистый сеповал.

ХЕМИНГУЭЙ В НОЯБРЬСКУЮ НОЧЬ

Да будет ваш стол накрыт,
Да будет глубок ваш сон,
Сон тех,
 кто па пашне пашет,
 кто доит коров на фермах,
 кто учит детей наших,
 кто море сетями меряет.
Сон тех, кто лечит больных,
кто собирает строфы...
Ибо у всех у вас
беды свои и свои заботы,
ибо у всех у вас —
работа.
Но, слава богу,
что надо пахать
землю —
не Млечный Путь,
что надо доить коров,
а не далекие тучи,
что надо ловить рыбу,
не звезды стальной сетью,
что надо детей обучать,
не комаров или роботов,
что надо лечить заболевших —

не язвы пависших гор,
что надо писать стихи,
но вовсе не пальцем в небе...
Конечно, вы делали бы и это,
Конечно, мы делали бы и это,
Но не осталось бы места мечте,
И был бы чертовски тяжелым год!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КРИША ИЗ КРАСТОВ

И Криш из Крастов понял,
Что пробил час его.
И попросил он — в поле,
В картофельное поле,
Чтоб вынесли его.

И поднял старика сосед,
И вынес в поле Криша.
А в поле белый-белый цвет
Под небом синим-синим.
И Криш, сорвав цветок, сказал:
«Спасибо майским ливням».

И Криша упесли домой.
Но хорошо ли, плохо ли —
Я вижу: человек ушел,
Совсем и навсегда ушел,
Ушел с цветком картофеля.

АИСТЫ

На этом холме зеленом,
В вечном царстве покоя,
Среди хлебов пожелтевших,
Под небом лазурно-шелковым —
Десять гнезд аистиных.
На соснах, одетых хвоей,
С рассвета до позднего вечера
Аисты клювами щелкают.

Птицы, гордые птицы,
Живущие рядом с предками,
Лишь вы моей доброй бабке
Привет передать полномочны.
Живите тысячелстия!
Над грустной, усыпанной ветками
Границей жизни и смерти
Шарите и днем и ночью.

И я, проходя мимо
Гнезд потомственных ваших,
Внимаю гортанному крику,
Который знаком мне с детства.
Где вы, души крестьянские?
Как там небесные пашни

В ваших заоблачных высях
И кто живет по соседству?

Нет ничего. Пуст небосвод.
И только жизни живущих
Связывают прошлое с будущим,
Как звенья цепи бесконечной.
И я не хочу покоиться
В райских небесных кущах.
Хочу, чтобы аисты белые
Надо мною кружились вечно.

ПОСЛЕ НОЧНЫХ ЗАМОРОЗКОВ

А ночью заморозки были, в мертвый сон
Цветок сегодня каждый погружен.
Согреть в ладонях? Отогреть дыханьем?
Нет, ледяной водой без состраданья
Поить их корни в глубине земли,
Чтоб выжили они и чтоб цвели.

А ночью заморозки были, в мертвый сон
Я сам сегодня как бы погружен.
Ты, как поток, меня почти скосила.

Какая холодность! Я буду жить. Спасибо.

ПОРА ЖЕЛТИЗНЫ

Осень, пора желтизны, и поблекшие синие своды.
Желтая осень, огопь, и расплесканной тучи

разводы.

Вспять не зовите к лугам, заалевшим
ковром горицвета,
Вспять не зовите к скворцам, да и к прочим
споспешникам лета.

Тихо крыла распростерла над вечером осень,
Осень, пора желтизны, и огонь, что в огопь
меня бросил.

Шаг. И еще... и еще... И дорога, как
хвостик мышиный.
Сердце? А может быть, это обмотка
динамо-машины?

Жизнь? Ну, а как это — крик журавлиный
печальный, прощальный?
Труд? Ну, а как это — просто такой ритуал
изначальный?

Нет меня больше — открыв для себя эту правду
простую,

Делаю вид, что как будто и впрямь я еще
существую.

Пальцы пашупали вену, биение пульса считают,
Тянется время, оно лишь одно почему-то
смущает.

Осень, пора желтизны.
Только кто мне, скажите, поможет
В сутки свой век уложить, чтоб за сутки
и был бы он прожит?

Я бы в течение часа родился, качался бы в
зыбке,
Двадцать минут я сгорал бы в твоей
пестрой улыбке.

Целых полдня я растил бы детей, выводил их
во взрослые,
Два-три часа я б, наверно, оценивал прошлые
весны...

В сумерки тихо и грустно сидел бы я
в кожаном кресле.
Может, не в кресле,— скажем, такого вдруг
не было б если.

Зная, что близится полночь и время мое
на исходе,
Я бы почувствовал тяжесть и понял:
все кончено вроде.

Осень, пора желтизны,
Но дорога моя не копчается,
Искры летят, и порой еще желтое пламя
взвивается.

Что ж, огорчаться?.. Пусть всходы побило
морозом.

Я еще есмь, я из жизни еще навсегда
не отзван.

Голос возвышу во имя спокойного самосознанья;
Я — это я. Только в жизни мое — на века —
оправданье.

Знаю, порой эту жизнь мы считаем до ужаса
краткой,
Что ж, проживем этот срок,
как мы прожили б срок
пятикратный.

Осень, над жизнью крыла распростершая осень,
Осень, пора желтизны, и огонь, что в огонь
меня бросил.

* * *

Ждет любовь меня, я знаю, там, за поворотом,
Ждет, печалится, тоскует год за годом...

Смотрит в небо, смотрит в землю, смотрит
в мирозданье,
Чей-то смех счастливый слышит и свое рыданье.

К пей иду я, к пей бреду я. Дни под ветром воют.
Янесу к пей жизнь, не зная, что это такое.

Иногда, бела и снежна, дивно белоснежна.
Чуть избита, чуть размыта, грешна, неизбежна.

Полтораста дней обычных, пятьдесят —
никческих,
И еще полсотни суток милых, неуемых...

Чем, любовь, меня ты встретишь там,
у поворота?
Парой рук своих горячих
Или парой глаз незрячих и...
зевотой?

* * *

Хочу, чтоб были
одновременно:
ладья и море,
и ты была.

Вот море рядом,
челнок тоскует,
но, как ни горько,
тебя все нет.

Босой пришла ты,
бросает море
валы на берег,
но лодки нет.
Бывает так, что
есть ты и лодка,
но где же море?
Сплошной песок.

Хоть раз, но сжался!
Иначе может
прийти когда-то
печальный час —
и лодка будет,
и ты, и море,
не будет только
меня. Меня.

СТАРЫЕ ЛИВЫ С МАЛОГО МЫСА

Рослые, могучие,
Ох, пни одинокие!
Если пни такие —
Представь себе ствол.
С этакой осанкою
Только короли стоят,
Временам певиданным
Удивляются.

«Мне не надо талеров —
У меня есть солнышко,
Мне грошей не надо —
Торба звезд полна.
Мне не надо песенок —
У меня есть море,
Мне и слез не надо —
Дождик льет».

Я в плаще нейлоновом,
Я в берете модном,
Но порог с почтением
Я перешагну.
Двоих, сынов земли,
Их, ладьестроителей,

Жизни их железные —
Якорная цепь.

«Что? Земля песчаная,
Сосны бурей сломаны,
Штормы чертовы
Бьют в окно?
Так ведь тыщу тысяч раз
Море все исхожено,
Каждая песчинка
Этих дюн — для нас».

Стой и удивляйся —
Редчайшая доля:
Врасти в эти дюны,
Деревом стать.
Стой и удивляйся —
Твоя это доля:
По синему морю
На ладье гулять.

«Сказок мне не надобно —
Мне своих хватает.
Прогудит мне море
Прощальный хорал.
Будь здоров, сыночек,
По волнам высоким
Пусть несет волпу твою
Ливский ураган».

ПОЕЗДКА В ВИДЗЕМЕ

Ишь, как мчится машина! Бензина ей дали вволю. А листья уже желтеют, и скоро земля покроется ярко-багряной листвой.

Грибы еще в рощах красуются, алеет в болотах клюква, по скоро из этой клюквы сварят кисель густой.

Ты раскрываешь глазенки, как птичка, что видит впервые дорогу к далеким странам. Пичужка, ты не озябла? Гляди, журавли вдоль речки гордо и чинно бредут.

А наша машина мчится, и тонут поля в тумане, и города игрушечные навстречу машине бегут.

Не хватит нескольких жизней, чтоб обойти эти улицы, побывать на веселых свадьбах, все песни на них пропеть.

Чтоб все дела переделать, чтоб в старых домах деревенских и в городских, огромных, когда опустятся сумерки, в кресле часок посидеть.

Неужто жизнь скоротечна, как будто фильм наэкране? Нет, я не верю этому! Взойдут на полях зеленя!

Твой путь еще долг, пичужка. Весь мир будет гулко новым. И вот перед этой новью низко склоняюсь я.

КОНФЕТЫ, ПЕЧЕНЬЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ БУМАЖКИ

На могиле детей замученных дети сложили:
конфеты, печенье, бумажки серебряные —
лучшую часть своего богатства.

Обычай древний! Но разве дети об этом думают?
Они хотят порадовать души детей,
что, может, глядят вот тем одуванчиком
либо падают птичкой трелью из синевы
небес.

Полакомьтесь, поиграйте и вы, замученные!
Вашей крови горячие реки
выпиты армией фюрера.
Вы рядом с бойцами покоитесь.

Кто-то уносит конфеты, печенье, серебряные
бумажки и протирает могильные плиты,
все-таки это — кладбище.

Но на другое утро снова на детских могилках:
конфеты, печенье, серебряные
бумажки.

Что толку твердить о древних поверьях,
о духах предков, о сердце людском?

На скромное рижское кладбище иду я солнечным
днем апрельским, когда обитают души
в цветках одуванчиков, в птичьих трелях.

Вот опи, эти могилы маленьких мучеников,
где детские руки сложили заботливо:
конфеты,
печенье,
бумажки серебряные.

* * *

Теперь уж близок горный перевал.

Ты чувствуешь, дышать уже труднее.
Дорогу в облаках напрасно взглядом ищешь,
Лишь звезды вроде бы немного ближе стали.

Глаза болят от белизны снегов,
А в сердце — резкий холод ледников.
Где цветики долин, такие голубые?

Не опускай глаза! —
За той вершиной
Ты с вечностью увидишься впервые.
Брось все ненужное, что ты с собою брал,—
Теперь уж близок горный перевал!

Выбрасываю — исчезают в пропасти:
Иллюзий треснувшие окуляры,
Расшитый честолюбием камзол.
(Совсем недавно он казался золотым,—
Какая чушь! — он просто из фольги...)

Воспоминанья о тебе выбрасываю тоже,
Они болезненны и слишком тяжелы —

Тягчайшая вина всей жизни.
Вот камушек зеленый — жаль его,
Он как надежда, как предвестие любви.
Пускай летит! Пускай!
Он тоже бремя,—
Какой росток взойдет в полусгоревшем сердце?

Я многое без жалости бросаю:
И дружбу лживую,
И мелкие страстишки,
Пусть в пропасти исчезнут навсегда
Зачем-то скопленные мною мелочишки.

Ну вот и все. И груза словно не было.
Теперь подняться на вершину просто:
Есть у меня тепло в груди,
Есть острый нож упорства
И в рюкзаке ломоть ржаного хлеба.

И это все, что я с собою взял,
Теперь я одолею перевал!
Нет у меня и лишней горстки соли.
Я гол почти, я пищ и болен!

Но чай-то голос дразнит каждой ночью:
— Нагружен ты, дружок,
Еще нагружен очень!..

ПРОЩАНЬЕ

Иди и не возвращайся; хотелось давно тебе этого,
не отпирая: осень гудит ветрами,
леса, куда ты уходишь,
хлещут мокрыми ветками —
Как уберечь тебя!

Ты словно в глубоком трапсе;
отчаянным криком — останься! —
взывает к тебе — останься! — тот мир,
куда ты стремишься
Из бедного — моего.

Что хочешь возьми с собою,
небо там тоже горит звездою,
и там клубится туман, и будут зарницы,
и дождь будет тоже литься, и будут,
наверно, тоже

Величие и ничтожность.

Мои укрепления пали!
Хоть колокол мечется — пали!
И настежь ворота открыты
Тобою средь бела дня.

Ворота открыты без бою
Тобою, а может, судьбою...
Как древнее городище,
Огонь истребит меня.

Иди и не возвращайся. Не мучай меня, не прощайся,
все бывшее было. Ушло.
И будут белые снеги. Созвездье далекой Веги.

На запертой двери — слеги...
Иди и не возвращайся,—
не уберечь мне тебя!

СТРИЖИ

А глаза у тебя и добры и ясны.

Вижу те же луга,
Они так же, как прежде, грустны.
И когда поспевает ячмень,
Через эти луга, озираясь, проходит олень.

Дремлют в полдень рябины, и дремлют стога.
Тень стрижей расчертила сады и луга.
Что я знаю о джунглях,
Пустынях, пассатах и бризах;
Мне знакомы стрижи
Да леса под июльскою тучею сизой.

А глаза у тебя и добры и ясны.

И мне жаль
Уводить себя в сумрак чертогов лесных,
Где тревожно и робко трепещет душа.
О любимая, разве возможно,
Чтобы смерть и за нами когда-то пришла?
Летний полдень. Устало склоняются маки.
Теню чертят стрижи на земле
Наших судеб секретные знаки.

А глаза у тебя и добры и ясны.

* * *

Под бурей деревья безмолвно легли — легли,
как на сонной воде круги, как призраки
почи,
как вспышки молний, — лежат деревья
мертво, безмолвно.

Безмолвна земля, только лемех блеснет,
безмолвно трава у обочин растет,
да просекой узкой — и прямо и строго —
под ноги безмолвно ложится дорога.

Ты тоже безмолвно стопишь на обрыве,
подобная гибкой плакучей иве,
как будто тебе не под силу стряхнуть
сковавшее землю иго.

Ты вздрогнула вдруг, ты глаза открываешь,
ты в царство безмолвия дерзко бросаешь,
бросаешь извечное:

«Лиго!»

Деревья проснулись, и звуки вернулись,
за молнией следует гром!

Земля пробудилась, и даже травинка
бормочет о чем-то своем.

Стоишь, чародейка, стоишь, чаровница,
а почь ожила, и сверкают зарницы,
и царство безмолвия рухнуло мигом
под звонким и женственным:

«Лиго!»

ПЕСНЬ О ЗЛЕКАС¹

Ты пройдешь лесами, под зеленым
сводом,
И увидишь Злекас, и услышишь стоп.
Глянет пепелище черным дымоходом
И кивнет обугленным кустом.

Здесь играли дети утром росным,
Здесь пахали, жали, доживали век.
Может, небу должно быть бесслезным.
Но не оскудел слезами человек.

Здесь увидишь мертвую улыбку,
Всю в смертельных рапах пулевых.
И сгорят старик, и женщина, и зыбка,
Ненависть одна останется в живых.

¹ Злекас — латышское село, в котором фашисты 6 декабря 1944 г. уничтожили около ста шестидесяти мирных жителей.

Вспыхнет мох под пулей разрывпою,
Крышкой гроба станет небосвод.
Соловей над мертввой тишиною
Трель ночную в Абаву вольет.

И навстречу девушка метнется
Из того, истерзанного, дыя.
Круг любви горячей разомкнется,
И сомкнется жаркий круг огня.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

То отзвук тапго был, а может, вальса,
Всю ночь кружились листья над Днестром.
Мне голос перелетных птиц казался
Когда-то виденным, но позабытым сном.

И это был привет полей продрогших,
Моих дождливых сумрачных болот.
Летели птицы к дальним теплым рощам,
К озерам теплым был их перелет.

«Тебя ждут дома!» — так они кричали.
«Никто не ждет!» — такой была их песнь.
«Ты одинок. Забудь свои печали.
В широком мире ты один как перст!»

А над рекой туман слегка клубился,
В окошках загорался робко свет,
И Днестр как будто изнутри светился,
Светился, словно в давнем детском сне.

Я проклял одиночество свободы,
Пройдя свой путь сквозь долгий листопад.
И в небе обо мне века, нет, годы,
Казалось мне, пернатые кричат.

Всю ночь над миром крылья шелестели,
К утру от перьев снег на землю лег.
Ночь напролет они, крича, летели.
И я всю ночь никак заснуть не мог.

«Отзвук горна»

1981

НОЧНЫЕ СТИХИ

«Надоели мне рифмы, которых мы ищем упорно. Надоели слова, что расходятся с делом. По горло надоела мне мистика строк стихотворных и мыслей,— обойдусь без нее, как обходятся многие в жизни!»

Но ветер в липах прячется,
и в сумраке почном
не спит душа-отгадчица:
а что за тем углом?

Кому багроволикая
звезда блестит сейчас?
Часы так громко тикают,
пробив двенадцать раз.

И тень густая движется
во тьме — наискосок,
и в шуме лиши слышится
мне тихий голосок:

«Весь день прошел, как водится,
в делах и суете.
Не сердце ли колотится
так громко в темноте?»

Зачем ты против голоса
сердечного идешь?
Я — луч, я тоньше волоса
и на струну похож.

Когда-нибудь любимая
уйдет, оставит друг,
я — луч, не смею мимо я
скользнуть и скрыться вдруг.

Как жалок мир и призрачен,
на гибель обречен,
когда лучом не вызолочен
и не освещен».

Отвечаю ему: «Скоро утро настапет — при свете для
уляжется ветер и страхи улягутся эти».

А ночь смущает бликами,
горит звезда в окне,
часов стариных тикалье —
предупрежденье мне.

А луч, во тьме платающий,
велит смелее быть
и краткость жизни тающей
поэзией продлить.

* * *

Отложи все заботы
В день последний
весны.

То пиши, чего жаждешь,
В час цветенья сосны.

Голос трав или облака
Там, средь синих глубин:
«Жизнь на свете прекрасна,
если ты не один».

Хоть и знаем, что вечно
Невозможно цвести,
Надо в пору цветенья
Быть нам тоже в пути.

Знаешь, жажда цветенья —
Созреванья залог:
Пусть цветет в поле колос,
Льна цветет
стебелек.

Свет опять половодьем
Хлынул на горизонт.

Нам о том говорит он,
Что вовек не умрет,

Хоть шаги наши стихнут
Во мраке земном,
Что бессмертное,
Смертные,
В наших душах несем?

В миг ухода последний
Нам сказать суждено:
«Я огонь разжигаю.
Я вернусь все равно».

НОВАЯ ВЕСНА

О, как скворцы свистят па ветке
Иль па коньке высокой крыши!
А у коров — опять телята,
А в поле — зайцы, лисы, мыши.

Опять подснежники белеют,
И наизнанку перевернут
Простор подсохший — тракторами,
Чтоб клубни он взрастил и зерна.

Где меру этому простору
Найти, безмерности и воле —
От пня, затопленного с края,
До тех стогов, что встанут в поле?

И пусть от майского цветенья
Рукой подать до рощ безмолвных,
От смеха юноши — до внуков
Его цветущих, полнокровных,

Хотел бы в трепетное сердце,
Которым трудный опыт пажит,
Вместить всю эту землю прежде,
Чем сердце в эту землю ляжет.

* * *

Уже набухли почки на ветвях,
Небесной почкой солнце созревало,
А человек от липы к липе шел
С дощечками под мышкой
и с гвоздями.

От липы к липе лесенку носил,
По ней взбирался вверх и вверх упрямо
И дупла заколачивал, затем,
Чтоб не могло щебечущее племя
В них поселиться и защебетать.
Он молотком стучал, стучал и думал,
Стирая пот с недоброго лица,
Что свист скворца, пиликанье спичье
И слух, и сердце без конца когтят.
Он дупла заколачивал на совесть,
Он умывался потом, он трудился,
Чтоб в мае тишина в саду дичала,
Чтоб во дворе оцепенел июнь,
Чтоб в мире был июль немым навечно!
Но что это?
Проклятые скворцы
Свистят все громче на соседних липах,
И аист не свалился с колеса,
И соловей с рассвета горлопанил,

Орет всю ночь у хлева, хоть заплачь!
И человек тогда в остервененье
Схватил опять и молоток, и гвозди
И всем, что оказалось под рукой,
В душе своей замуровал те дупла,
Где все еще звучали голоса
Скворца, синицы, соловья, где птахам
Легко дышалось в прежние годы.
Трюк удался на славу!

Стало лето

В саду и в мире для него немым.
Он руки, истомленные работой,
Вдруг опустил, прислушался,
Его уже ничто теперь не раздражало.
С собой довольный, он пробормотал:
«Что ж! Если целый мир не заколотишь,
То душу можно всю замуровать».

ТЫ УЖЕ НЕ УВИДИШЬ

Улдису Лейнерту¹

К весенней и черемуховой Берзе
И к золотой листве осенней рощи
Ни радостным, ни грустным
ты не выйдешь.

Как расцветают девушки и жены,
Уже ты не узнаешь.
Не увидишь.

Как будто бы от непосильной ноши,
Подрагивать и покрываться рябью
Вновь Даугаве,
К ней уже не выйдешь.
И как друзья безвременно седеют,
И не узнаешь ты,
И не увидишь.

К тому, кто обессилел,
к тем, кто тапцит
Упрямо, по-воловьи, бремя жизни,
Ни добрым, ни насмешливым
не выйдешь.

¹ Улдис Лейнерт (род. в 1936 г.) — латышский поэт, трагически погибший в 1969 г.

Как кто-то для себя возвел хоромы,
Уже ты не узнаешь,
Не увишишь.

И ради той поэзии, в которой
Ты колдовал,
из-под земли не выйдешь,
Как нам сражаться
словом с грубой силой
Еще придется, жаль, ты не увишишь.

Опять цветести черемухе у Берзе,
Вновь расцветать и девушкам, и женам,
Но не воскреснешь ты
и к ним не выйдешь,
И что бы ни случилось в мире этом,
Уже ты не узнаешь,
Не увишишь.

* * *

Один стал ясенем,
Другой — сосновой.

Кем стал ушедший так недавно

третий?

Кем стали те, кто в глубине земной

Уже не годы — долгие столетья,

Их шепот, их дыхание

весной

В чем уловить еще на этом свете?

В плакучей иве над речной волной,

В тростинке светлой, что колышет ветер.

Все вместе — луг, все вместе — лес опи:

Был старичок — и вот зовется тисом,

Из древних дней вернулась в наши дни

И девушка березкой серебристой.

Простор земной, куда ты ни взгляни,
Свободен...

И ростком пробейся быстрым

Вновь из земли.

А хватит сил, звени

Сосновой на дюнах

стройной и ветвистой.

Пока живем
людьми
на свете мы,
Нас гонит спешка,
но и в спешке
ветку

Сломать у дерева грешно: из тьмы,
Возможно, тянутся к нам руки предка.

Он, может, этой встречи ждал, пойми.
Стал деревом, но что-то человеку
Поведать хочет и побить с людьми.

НА КОНЦЕРТЕ БУДАПЕШТСКОЙ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ АТИЛЫ ЙОЖЕФА

Ласло Латору

Много ль нужно для счастья?
Пчела над цветком
или облако, волны и пепа.

Или, скажем, над улицей, где мы живем,
тоб вскипали этюды Шопена.

Где-то грозы грохочут,
команды звучат,
и теряет судьба управленье,
как потрепанный бурей старинный фрегат,—
нелегко достается пам пепье.

Над сиренью, черемухой
 песня плывет,
 над каштанами пышными реет.
Как извилист таинственный времени ход!
Жизнь затмится и вновь посветлеет.

Нам нелегкий достался, наверное, век,
 все же, Ласло, мы справимся с веком:

англичанин ты, русский, латыш или венгр,
надо быть на земле — человеком.

Это, видимо, самая трудная роль,
и запятье, и служба, и дело.

Внучка песню поет,
а у бабушки — боль
в сердце; в горе она поседела.

Впучка любит впервые, а бабушке срок
подошел с этой жизнью прощаться.

Что за музыка!

Что за волшебный смычок!

В путь-дорогу пора собираться.

Хвост жар-птицы, скажу, был в руках у меня,
три пера предъявлю золотые.

Много ль нужно?

Два-три ослепительных дня.

Сказка, музыка, короны густые.

СКВОЗЬ ЗАБОТЫ

Синие-синие небеса

(годы идут),

Розово-синей реки полоса

(годы идут),

Знойное-знойное солнце печет

(годы идут),

Дням потеряешь стремительный счет

(годы идут),

Листьев зеленая свежесть и дрожь

(годы идут),

Вечно чего-нибудь жаждешь и ждешь

(годы идут),

Дед в этой заводи рыбу ловил

(годы идут),

Сеть поднимала к поверхности ил

(годы идут),

Сам ты плотвичку здесь ловишь рукой

(годы идут),

Дочка аир собирает сырой

(годы идут),

Мерно и безостановочно вдаль
 годы идут,
Сквозь твое сердце, любовь и печаль
 годы идут,
Сквозь череду ежедневных забот...
И розоватая, как небосвод,
Таволга, таволга пышно цветет!
 Годы идут.

ОМУТЫ

Вниз, па веслах,— поглядеть плыву я,
Как июнь гостит в лугах, пируя.
Утро начиналось миром, ладом.
А с полудня — буря, с ливнем, градом,
Молны рвали небо, как бумагу,
И моя земля впивала влагу,
Что перебродила в тучах темных,
Словно в чанах, черных и огромных.

В кроны сосен ветер бил с налета.
«Ты зачем живешь?» — спросил вдруг кто-то...
Да! Зачем? И что там, за годами?
Труд свой кончим... Пошумим с гостями...
А потом сомкнем мы оба очи
В бездрах лета, и любви, и ночи.
Будто от миражей отреченье —
Этот путь на веслах по теченью.

С этой мысли сбить меня — не выйдет:
Солнце всюду, только надо видеть.

Жить? — для дела, для любви, для детства
Нового; в лицо полей взглядеться...
Умереть? — для отчего простора,
Холмика безмолвного простого;
Снова кануть в омуты природы,
Чистые, как речки этой воды,
По которой сквозь зарю вечернюю
Я плыву на веслах по течению.

* * *

Вновь липа мед июльский источает.
Не медли! Обнимай же крепче лето.
Оно дыханье медом наполняет.
И об одном лишь помни: не бывает
Поры прекраснее в году, чем эта.

Вновь липа мед июльский источает,
И синеглазый василек смеется.
Как в юности твоей глядит
И знает
Неведомое что-то,
Но скрывает...
Пьет все живое мед и не напьется!

НЕ НАГЛЯДЕТЬСЯ!

Светильнички, блестки
На небе сверкают на темном
(Никак я названья
Мудреные их не упомню)...

Честь рода велит
Жить весело, крупно, без страха,
Предвидя и то,
Что стапешь в свой час горсткой праха.

Когда б мы глазеть
На небо, на звезды могли бы?
Как ломы, врубались
В работу, ворочали глыбы.

И в море, и в горе
Торили тропу век от века.
Шли там, где не хожено;
Горько дымилась подсека.

(В чреде наших предков,
Землею и морем пропахших,
Мелькал то кудесник,
А то — забулдыга пропащий...)

Но в небо взглянуть
Нет времени с самого детства.
А как там сияет — вовек
Не паглядеться!

— Месяц ты, месяц,
Хлеба ломоть.
— Солнце ты, солнышко,
Масла комок!

— Звезды, как пчелки,
Мед в улей несут.
Буренка пасется,
Конь тут как тут.

...Может, виделось предкам
И в небе — корчевье?
(Где, куда ни взгляни,
Облака точно дымы и звездною пылью
Дотлевают смолистые пни?)

Может, зверем и птицей кипит это небо?
И кто знает,— быть может, волна
Там гуляет, как в море? И красною рыбой
Эта синяя чаша полна?..

А всмотреться-то не было времени,
Не хватало с самого детства.
Как горят, как сияют в небе огни,—
Не наглядеться!

* * *

То, что теперь
Не гаснет и не вянет,
То и потом
Не порастет быльем.
То, что в твоей груди
Горело жарко,
То и в других, глядишь,
Взойдет огнем.

Там ни на волос
Твоего не будет:
Не твой — черемух цвет,
Погост — чужой...
Но ты припадлеки
Тому, что будет,
И телом смертным,
Бренным, и — душой.

— Рассеет ветер все! —
Сулят пророки.—
Зароет буря
В глубину и тьму!
...Шумела б вечно жизнЬ
Сосновой кроной —
Других корон
Не надо. Ни к чему.

* * *

Среди гор, в краю далеком,
как сквозь соп во мне звучало:
«С пеньем девушки вовек
не сравнится пенье птицы».

Для чего отвесным скалам
эта песенка чужая? —
разве кто ее похвалит,
разве кто ее подхватит...

Песней больше, песней меньше —
разве в мире хуже станет
без березовых мотивов,
погрузившихся в заливы?

Только чувство неотступно —
мне без песни нет свободы:
встреченная при рожденье,
пусть пребудет до ухода.

Среди гор, в краю далеком,
как побег восходит дайпа:
«С пеньем девушки вовек
не сравнится пенье птицы».

* * *

В стороне родной живет не только тот,
Кто живет здесь, вкалывает, пьет
Горькую, кто песни распевает,
Ходит в школу... Здесь же проживают
Те, кому уйти судьба судила.
Дальний путь да ранняя могила
Ждали их. Живут здесь, дышат разом
Все, кого ты знал лишь по рассказам,
С кем родство ты чувствуешь невольно.
Кто вдали пропал иль те, кто в войнах
Пал, кто на горе сквозь пласт песчаный
Словно излучает свет печальный,
Да и тени тех, кто на чужбине
Так ли, сяк ли, а живет поныне,
Тех, кто бредит нашими борами
В час, когда конец не за горами...

А взглядишься — и увидишь лица
Тех, кому лишь предстоит родиться,
Тех, кто истолкует, когда надо,
Твое завтра, скрытое от взгляда.
Слышишь, в рощах и в садах, в лугах немятых
Матери ласкают и бранят их?
Дно речушек малых, бездны пеба

Им дано измерить,— тем, кто не был,
Кто придет сюда любить и верить,
Кто не проверять тебя — поверить
Горе горем, счастье счастьем, жажду
Жаждой не поленится однажды.
Сердце в грусти, в радости, в смятенье
Чувствует шагов их приближенье.

Край мой — птичий грай по всем пределам —
Самый обжитой на свете белом.

ИСТОЧНИКИ КРОВИ

Как трепещут осины на тесных полянах,
Как бежит ветерок по листочкам сквозной..

Я прапрадедов вижу в штапах домотканых.
Сколько тысячелетий у них за спицой!

Из жемайтского края, нахмутивши брови,
Из латышских, литовских и польских земель.
Там начало начал, там источники крови,
Там бесчисленных предков моих колыбель.

Эта кровь настоящая на солнечном зное,
Запах леса в составе ее и смолы,
И дымок на подсеках, и лето грибное,
И дыхание выюги февральской и мглы.

Эта кровь по моим капиллярам струится.
Не затем я взрослел, и менялся, и рос,
Чтоб подспудным источникам дать замутиться,
Чтобы ветер песком их и пылью занес.

Мы должны передать их в сохранности детям,
Чтоб в крови у них древние пели леса,
Волны тысячелетние, память в кассете
Клеток, хлеба колосья и птиц голоса.

И не властвовать падо над жизнью, над кровью,
А довериться им и прислушаться к ним,
Чтобы шелест листвы подступал к изголовью,
Чтоб народ оставался в веках молодым.

Ибо кровь, что течет в нас,— не собственность
наша,
Но на время доверенный, праздничный дар.

Моря тысячелетнего общая чаша
И на тысячи судеб поделенный жар...

СТРЕЛОК И ЧЕРЕМУХА

Весну я обнимаю обеими руками...
Янис Судрабкалн

Могучий куст взметнулся над домами.
Я замер: как черемуха цветет!
Черемуха, ты гладила цветами
Стрелков, ты провожала их,
И вот
Сейчас здесь старый человек с тобой,
Не размыкая губ, все говорит
О том, что видит полк, идущий в бой,
И степь, и тех, кто в той стени зарыт.
И голова стрелка бела, она
Как белая черемуха цветет.
И без вести пропавшая жена
Во сне приходит уж который год
К стрелку... Бой для него не отзвучал!
Спросил я: что мне рассказать о нем?
«Сын, в песнях ваших все горчит печаль,
Когда ж победы вспомним и сочтем?»

Черемуха цветет, и о стрелке
Сама весна творит свою строку.
С последнею гвоздикою в руке,
Я знаю, скоро уходить стрелку.
В чем черпать бодрость, если путь по краю,
Над страшной бездной вьется наяву?
Сказал старик:
«Весну я обнимаю
Обеими руками. И — живу».

АРБУЗНЫЙ МЕД

«Рай» гостиничный.
Город чужой.
И сосед мой со мной откровенен —
Весь он в прошлом тревожной душой:
— Были в горе и счастья мгновения.

Волокла похоронки беда,
По деревне плелась с недородом,
И арбуз нам казался тогда:
Хлебом,
Маслом,
Селедкой
И медом!
Налетай да сгружай, ребятня,
В берег Волги ногами босыми
Упирайся!..

Уж после-то я
Где не побыл вдали от России.
Сколько дел переделал земных,
Гнулся и под невидимым грузом.
Но и солнце мне в землях чужих
Все казалось медовым арбузом —
Откликалось мне детство мое...

Смолк...

Затеплился вечер хороший.

К жизни:

К счастью, к проклятью ее

Был невидимый мост переброшен.

Знаю толк я в старинном вине.

Вкусно ел я, гурманам в угоду.

Но еще не пришлось и во сне

Мне отведать арбузного меда.

Прежде чем превратиться в песок

На исходе последнего года,

Мне бы алого солнца кусок,

Полный, полный арбузного меда!

НАД ВЫЖЖЕННЫМ ЛУГОМ

Там, над выжженым лугом, птицы трели
серебряным льются зерном —
Это жаворонки... День весенний им сеять,
посеять на нем.
Возле черного луга лед ломается белый...
С треском... в русле речном.
В лепестки серебристые обратиться
всем этим осколкам потом,—
Белый лед устремляется к самому сердцу земли
для цвстенья.
Там, на черном лугу, вырастали мы чудом,
мы, дети терпенья.
Там след жаворонка наши детскии годы таит...
Не стирайсь...
Где-то сверстники наши исчезли? В беде? На войне?..
Не прощаясь...
Но над выжженым лугом их дыханье в апрельском
живет дуновенье,
Их черты еще живы то облаком в нас,
то виденьем.
Еще ночью бессонной, стиснув зубы, мужчины
свой стон приглушают,—
Фронтовые осколки выходят из тела
и спать им мешают.

СТАРИКИ

К тем старикам лежит моя душа,
В ком чувствую упорство и терпенье,
Кто, трижды взвесив слово, не спеша,
Высказывает собственное мненье.

Земли

в них

сила,

А в глазах у них
Величье неба замечаю часто,
И смерть над ними потому не властна,
И долг век у стариков таких.

Им памяти о ссылках не предать,
Той жизни не предать, которой дышат.
А если

их

старухи недосыщают,
Не сердятся... Припомнится опять:

Бывало, разбредались кто куда,
Гнала беда недобрьми путями,

И все ж
из-за похлебки
соловьями
Нигде не заливались. Никогда.

И бесконечность пройденных путей
В глазах у них. Я чту их, поседелых,
Чту стариков, так любящих детей,
Всех, даже неспособных и несмелых!

Я ЖИЛ

Я босым скитался по земле,
Я мечтал в метелях о тепле,
Я пахал, косил, полол и сеял,
Ветер с поля мне навстречу веял,
На коне я по полю скакал,
Крышку гроба тихо опускал,—
Нет, примером мне не послужил
Одуванчик легкий:
Жил я!
Жил.

Не летел по ветру наугад.
Помню лес рабочих баррикад,
Пятый год, рабочие отряды.
Помню все эпохи, все заплаты
На одежде,— звали бояком,
Попрекали поданным куском,
Но и в горе горьком дорожил
Я своею честью:
Жил я!
Жил.

У медведя мед я похищал,
В крепкий стол осину превращал,

Возводил я крепостные стены,
Исподволь готовил перемены,
Узников фашистских лагерей
Выпускал на волю, ждал вестей
Радостных и голову сложил
За земное счастье.
Жил я!
Жил.

Я ушел, но дух мой не уйдет,
Вечен над землей его полет:
Он — в любовной ласке, и в улыбке,
И в решенье смелом, и в ошибке.
Завывай, метель! И дождь, шуми!
Все же вам не справиться с людьми.
Вот дитя.
Не рвется паша нить.
В пем я жив!
И вечно буду жить.

* * *

Мне кажется: жил я на свете
в дремучие правремена
и спова на желтые эти
деревья смотрю из окна.

Не ссорясь ни с кем и не споря,
от дел городских вдалеке,
в каком-нибудь шаге от горя,
зато и от счастья — в шажке.

Мне кажется: шла ты по листьям
в далекие правремена,
лелея заветные мысли,
по темному саду, одна,

и почь в златотканом убore
звезду проносила в руке
в каком-нибудь шаге от горя,
зато и от счастья — в шажке.

Мне кажется: все еще встреча
с тобой предстоит в тех краях,
где ветер сентябрьский на плечи
нам крылья опустит впопыхах.

Очнемся на вольном просторе,
на вкрадчивом том сквозняке,
в каком-нибудь шаге от горя,
зато и от счастья — в шажке.

ПОЛПУТИ

Полпути: меж мечтальми и насущною истиной.
Полпути: между видимым и нашептанным листьями.
Меж восходом манящим и закатом щемящим.
Меж ростком нежно-розовым — и колом стоеросовым.
Все так зыбко! Луга норовят быть трясинами...
Верю самому верному, верю самому сильному:
Слишком молод еще я, чтоб смех позабыть.
Слишком стар, чтоб легко, беззаботно любить.

* * *

Правдив твой мир и прекрасен,
А жажда твоя — тем более,
Но вечно чужими будем:
Ты болью моей не болен.

Твои велики свершенья,
Твое восхожденье — тем более,
Но не о чем говорить нам:
Ты болью моей не болен.

Счастья тебе, удачи!
А если молчу — поневоле:
Я болью твоей болею,
Ты болью моей не болен.

水 水 水

Слишком мало мне в городе неба,— в снующей толпе
Мне мерещатся волны,— как лодка, томлюсь у причала.
Слишком многое в жизни люблю я,
должно быть,— тебе
Остается любви моей не потому ли так мало?

Ах, как солнечно было! Какой ослепительный вид:
Плоскодонный залив, камыши, ветерка опахало.
Слишком многое в жизни мне, видимо, принадлежит,
Чтоб еще и любовь твоя горькая принадлежала...

* * *

Когда закат заденет крышу
Косым лучом,
Я крик придушенный расслышу
В себе самом.

Как будто кто-то, полон муки,
Просыпал соль
На рану — и ломает руки,
Такая боль!

Как страшно он изнемогает
В кольце огня,
И сердцу митится — он страдает
Из-за меня.

В пиру он голоден остался,
Ведою сыт,
Моей тоской он надышался,
Как дым, прибит.

Мне жаль любви его и пыла,
Как я жесток
К тому, кого она любила!
Он изнемог

В борьбе со мной. Стою, унылый.
Как мрачен свет
Дневной с тех пор, как рядом милой
Со мною пет!

Он всей душой был к ней привязан,
Оп — ей под стать.
Я у себя его обязан
Отвоевать.



Эй, цыган, ты сыграй, ты сыграй мне.
Эй, цыган, спой же что-нибудь, спой мне.
Нет, уж лучше спляши-ка, спляши мне,
Пусть глядят облака, табунятся!

Ты сыграй, как любили, любили,
Ты сыграй, как расстались, расстались,
Мечет звезды костер в небо, в небо,
Алый плат по земле расстилает.

По земле все иду, все иду я,
И с тобой мы похожи, похожи:
На конях в жизнь когда-то примчались,
А из жизни уедем в машинах.

Я сыграл, что умел, все сыграл я.
Твоя песня, цыган, звонче, лучше,
В твоей песне все лето да лето,
В твоей песне-то иволга, иволга.

Расскажи, как теряем, теряем.
Спой, сыграй мне большую надежду.

Пусть в лесах, где черника, черника,
Мать ветров колыбели качает.

Землю греют костры, согревают,
И чеканят подковы, подковы.
Жизнь во всем, и сквозь все пусть струится
Кровь горячая, быстрая наша!

ПРАВДА О НАС

Любимая, какой ты правды хочешь?
Вот правда: сельский воздух в час ночной.
Четыре года без тебя средь ночи
Я вздрагивал, разбужен тишиной.

Любимая, какой ты правды хочешь?
Мой горизонт топул во тьме сплошной.

Любимая, велишь мне быть правдивым.
Все тот же ковш сияет в вышине,
Серебряным слепя глаза отливом,
Остаться с пим люблю наедине.
Ни нравиться тебе, ни быть счастливым
Не хочется уже, как прежде, мне.

Хотя, и это правда, в сон мой часто
Являешься ты, словно певзничай,
Печальна и как будто безучастна.
Что делать? Ты любила этот край,
А я — тебя... поэтому опасна
Такая встреча — хоть не засыпай.

А липы без тебя не так душисты,
И дом напрасно выстроил сосед,

И сельские фальшивят баянисты,
И радости губам в бокале нет,
Дни тянутся, беспамятны и мглисты,
В душе моей с тех пор притушен свет.

Любимая, по-моему, довольно,
Достаточно признаний и тоски.
В разлуке мы с тобой, еще мне больно,
Но то, что разлетелось на куски,
Не склеить, жизнь прекрасна, своевольна,
И снегом припорошены виски.

Я думаю, что в войнах виноваты
Несчастные
и в горестях людей.
Несчастные самим себе не рады,
Нет строже и безжалостней судей,
Несчастные, у них такие взгляды
На жизнь... боюсь я темных их затей.

Любимая, вот правда: благодарен
За прошлое, за то, что к облакам
Взмывал я, и мой день был лучезарен,
Мы жизнь с тобой делили пополам,
Тобою целый мир мне был подарен,
Я кланяюсь тем легким временам.

Кого бы ты сегодня ни любила,
Не превзойти того, что с нами было.

* * *

Для любви подходят, например,
месяцы без грубой буквы «р»:
май, июнь, июль и август темный.

Но уже в студеном феврале
надо жить с мечтою о тепле,
стряхивая холод полусонный.

Как прекрасны май, июнь, июль,
август,— позабыть о них могу ль,
нежные, как шепот и объятье.

В них зарницы блещут по ночам,
 волосы струятся по плечам,
вспыхивает шелковое платье.

В январе студеном, феврале
помни об оттаявшей земле,
в дверь стучись, в тумане ли, в снегу ли.

Поздно будет думать о любви
в той дали, где «р» в твоей крови
зарычит в июне и в июле.

ПЕСЕНКА ПРО ГЛУПУЮ ДЕВОЧКУ

Ждал — да не шла, приходила — скучала,
В сторону, руку отдернув, смотрела,
Осенью, чуть небеса помрачили,
С листьями вместе ушла, позабыла.

Глупая, что же ты сделала? Порознь
Слушаем шорох, и шелест, и лепет.
Гром нас преследует поодиночке,
Белые врозь обжигают метели...

Глупая девочка, чем разжилась ты?
Мужем невзрачным да парой детишек.
Завтрак сварив, за обед припимайся.
Ты перед сном постирать не забыла?

Утром будильник трещит заведенный,
Вечером муж то ворчит, то бормочет.
Глупая девочка, как же случилось,
Что от меня ты ушла, позабыла?

Глупая девочка так отвечает:
Вспомни, мой умный, забытое нами:
Много ль у девушек жизни в запасе?
Несколько легких, прелестных годочеков.

Ах, не твоя ли любимая тема —
Вечность. Для девушки вечности нету.
Дети пойдут — подрастут, не заметишь,
Как из гнезда улетят без оглядки.

В этом и радость — не только в танцульках,
В этом и счастье — не только в мерцанье
Звезд; целовал да пьянеонек, помнишь,
От поцелуев моих становился.

Верю, что не был ни злым, ни бездушным,
Даже горел, и сгорал, и светился,
Только невзрачный — любил меня больше,
То есть надежней, чем ты, мое солнце.

Глупая девочка. Девочек много
Глупых, твердящих о том, что любили,
Умники, мы — лишь любовь, поцелуи,
Мало любили их, девочек глупых.

ЛЮБОВЬ, ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ И ДР. ЯВЛЕНИЯ

Слишком редко
в юности шутили мы.
Видишь, я сижу на ветках,
призрак, порожденье тьмы?

Темный призрак у залива,
пизко голову склоня,
я скитаюсь сиротливо,
узнаешь ли ты меня?

В лунном свете огороды
облетаю, тих и нем.
То явление природы,
а не мистика совсем.

Сколько крупных дрязг и мелких!
Так подумай между дел:
на летающей тарелке,
может быть, твой друг взлетел?

Почему и впрямь так редко
в юности шутили мы?
Видишь: вяз. Сижу на ветках,
призрак, порожденье тьмы.

Привиденьем быть — поправки
в трезвый взгляд вносить земной.
Словно я еще полставки
взял, помимо основной.

* * *

Нородившиеся дети, сыновья мои и дочки,—
Что им, хлеба не хватило б?

Не достало бы одёжки?

Н о родившиеся в сердце,—

кто мне сердце даст другое? —

Ног и чём тяжесть и докука, вот где пагуба

и горе.

Дн. дитя должно рождаться в сердце — а потом
под солнцем,

Прежде в сердце засмеяться, а потом —

уж людям, соснам.

Тако сордце было пусто? Нет, оно не пустовало,

Только, видно, в нем лужайки для детей

недоставало.

Но сордце было полвселенной. Радость, счастье,
боль, сомненье.

Но хватало, может, луга да пчелиного гуденья...

Но своршилось: в сердце плачут и поют,

смеются дети.

На небытия выходят и идут к своей планете.

* * *

Как я ждал такого мая!
Дочка поздняя, малышка,
Показала вдруг ворону,
Говорит мне:
— Это чайка.
(Потому что и ворона машет крыльями,
взлетая.)

Ни минуты нет покоя.
Так смеяться, как смеялся,
Думал, я и не умею.
Мне рассказывает сказку
Дочка поздняя, малышка:
«Петушок тут спес яичко,
Не простое — золотое...»

«Лабу» с «лапу», «року» с «коку»¹
Путает неугомонно.
Путает цветок и солнце.
День пройдет, слова живые
Обретут свои значенья,

¹ «Добро» с «листом», «руку» с «деревом» (дословно).

Путаница лишь до срока:
Бытие лишь у истока,—

Это, жизнь, твое начало!
И смешит меня и хвалит
Дочка поздняя, малышка.
— Папа как поет, скажи мне?
— Папа мой поет красиво,
Вав, вав, вав — поет мой папа...—
Похвалы такой не знал я!

* * *

Бог мой, давно ж я не смеялся
вволю! Другой народ блистает
в волейболе; легко в байдарке
девушки скользят...

От легкости такой почти в испуге,
очутишься опять ты в новом круге, а
там, глядишь, тебе и пятьдесят...

И если червячок, что меня точит,
молчит, то потому лишь, что не
хочет мешать мне сон мой давний
досмотреть. А сон — про то, что можно же,
наверно, чтоб этот берег
нашим стал навечно, а все, что
сеял я, могло дозреть?

Но солнце — выше; время-невидимка
мои виденья гасит знойной дымкой, лишь
некое «быть может» в мгле сквозит.

И — не стыдясь — за той сосной,
за дюной, я вижу тебя юной, юной, юной,
твоя байдарка по реке скользит.

Будь славна, жизнь. И ночь, и свет
твой алый, и быстрый промельк
легкого весла. Я помогал — но все,
что обещала, все ты несла.

О НАПРЯЖЕНИИ

Тому, кто в искусстве привык
К повышенной плотности чувств
И мыслей,— так скучен язык
Обыденной жизни и пуст

Обыденный миг для него.
О, жажда страданий, страстей!
И стыдно ему своего
Желанья тревог, новостей.

Лишь в музыке, красках, словах
Возможен такой концентрат.
Ни солнц четырех в пебесах,
Ни бурь, возведенных в квадрат,

Не выпести в жизни. Она
С любовью, таящейся в ней,
Да будет ровна и прочна
На всем протяжении дней.

А вдуматься: так ли легко
Даются восход и закат?
И птицы летят высоко,
Следит с восхищением взгляд

За ними, и желтый янтарь
В прибрежном мерцае песке,
И жизнь и сегодня, как в старь,
На тонком висит волоске.

Легко ли ребенок растет
И яблоко зреет в саду?
Так много у жизни забот,
И все ли они на виду?

Л требовать бури сплошной,
Желать напряженья и драм
Неистовых — что за слепой
Взгляд, жизнь не простит его нам.

* * *

Для чего тебе щепки, когда по плечу тебе бревна?
Для чего тебе пруд,— дышит море
свежо, полнокровно.

Что ты возишься с гридкой, когда за спиной твоей —
поле?
Где большая игра? Не к лицу тебе малые роли.

Слышал — парень один тут по тяжести изголодался:
Пух носил на себе и под тяжестью этой качался.

Не гляди на соседа, помят он, поднялся с постели.
Видишь: птички щебечут —
из Турции к нам прилетели!

ЕЩЕ РАЗ О ВЕТРЯНОЙ МЕЛЬНИЦЕ

Убеждаюсь в чуде каждый час:
Некто в нас живет сильнее нас!

Это он забыть пам не велит
Оскорблений тяжких и обид,
Вместо «да» послушного в ответ
Произносит горестное «нет»!
Это он, незримый, виноват,
Что мы слов своих забрать назад
Не хотим, когда б его изгнать —
Вот быти бы тиши и благодать.

Наступил бы сладостный покой.
Слово к слову лнуло бы с такой
Неземной улыбкой; стыд убавь:
Бьют по левой — правую подставь.
Все добры, куда девалось зло?
Всепрощенье б дружно расцвело,
Что за жизнь бы в мире началась!
Кто мешает, гордо распрямись?
Убеждаюсь в чуде каждый час:
Некто в нас живет сильнее нас!

Как печален этот край лесной,
Если в нем не видно ветряной
Мельницы, чтоб к ней наперерез
Мчаться нам, копье наперевес.
Призрак нужен, видишь ли, фантом,
Чтоб к нему стремиться напролом.

Рвется клич усталый из груди:
Ты, кто нас сильней, не уходи!
Но позволь в грядущие года
Забежать, потом ответить: «Да».
И сначала взвесить тяжесть бед,
А потом швырнуть кому-то: «Нет»;
Если ж нас съестной поманит дух,
Увернуться дай от оплеух.

Ты, кто нас сильней, пе уступай,
Ветряную мельницу нам дай,
Дульцинею, мельницу, коня!
Ты во мне, не слушай же меня.

ЗАЯВКА НА СТИХОТВОРЕНИЕ

В стихотворении речь поведу о сердце,
Которое над алчностью способно
Подняться...

Не поморщится редактор:
Подтекстов в нем не будет, только текст,
Прозрачный, как ручей. И параллелей
Не будет в нем. И гром прологом к драме
Не загремит. Не зашумят деревья,
В душе героя смутную тревогу
Усиливая...

Все как на ладони.
Стрела моя, бездушие срази,
Пронзи того, кто в будущее первым
Пролез, в том смысле первым, что молочных
Рек он уже отведал, берегов
Попробовал кисельных, о, проныра,
Себя он мнит разведчиком грядущих
Благ (мол, разведчик — тот, кто впереди).

Ты, будущего сладкий рот раскрытый,
Тебя я пригоню, как арестанта,
В сегодня, где не всем всем хватает,
Где, слава богу, нет самодовольства
Притихшего. Идиллии сплошной.

Сегодняшний день — это труд, борьба.
Иль атомный меч людям не грозит?
Инфаркт и рак уже побеждены?
Хватает человечеству зерна?
Свободен человек и все народы?

Достигнутая цель уже не цель.

В стихотворении речь поведу о сердце,
Возвыситься способном.

Обещаю

Читателю о жульничестве мелком
И алчности большой не слишком долго,
Не слишком дидактично говорить —
Наш век привык дидактикой считать
Прямой и здравый смысл; во времена
Великих поэтических метафор
В почете — дым, туман и облака.

Прорвись, стрела поэзии, сквозь них!

В стихотворении речь поведу о сердце,
В котором дух грядущего живет.

ПРОВЕРКА ТИШИНОЙ

Музыкальный, недремлющий ящик,
Что ж, бессонно греми, как и прежде.
Тем привет, кто тебя еще слышит.
Ухожу в тишину я

в надежде

Отыскать заклинанье такое,
Чтобы сердце мое не устало.
Заклинаю я облаком сердце
И зарей, ее парусом алым.

— Ты расти! — говорит мне полмира.
— Как расти, если время земное
Мне отмерило зрелые годы?
— Ты наполни себя тишиною,
Тишины нужно выпить колодец,
Расцветешь на морозе трескучем!

Сквозь мороз и сквозь зной прохожу я,
Тяжелеют осенние тучи,
А в руках то коса, то лопата.
Погружаюсь в работу, как в море,
А жемчужин никак не добуду,
И один

на обрывистом взгорье

Птиц прошу, чтоб меня навестили,
Одиночий костер разжигаю.
И словами, что дороги с детства,
Ворожку, ворожку-заклинаю.
Твердо верю, что быть персмене:
Быть с людьми и начать все сначала!
Надо зубы лишь стиснуть покрепче,
Надо, чтоб тишина зазвучала,
Словно музыка...

Сам над собою
Суд вершу я...
И жду оправданья,
И годами труда заклинаю
Жизнь мою — оправдать ожиданье.
Мне вернуться с лицом просветленным
И забыть навсегда про усталость.
Век прожить,
 что судьба мне отмерит,
И еще ну хоть самую малость.

ДУША

Опять ты не можешь туда не стремиться,
Где глухо, безлюдно кругом,
Где утро на свет до апреля скучится,
Где должен ты выстроить дом.

И бревна тесать, и камни ворочать
Ты будешь один и с трудом.
Не так уж красив и просторец не очень,
Поднимется все-таки дом.

В апреле долины «забродят» квашнями,
Подснежник взойдет под ольхой,
Услышишь тогда, окруженный гостями:
«Ну что же, домок не плохой!»

И камни ворочать до зимнего срока
Без муки, все вместе начнут.
Построют поселок, и светлые окна
Дома поутру распахнут.

Ты рад за людей: помогали друг дружке,
Закалку в труде обрели.
Они же — тебе:
«А домок-то — лачужка
Смешная, как ты!.. Ну, пошли...»

Уйдут от тебя, очень гордо ступая,
Хозяевами без долгов.
Всю ночь будешь думать ты, не засыпая
Под вой одиноких ветров.

Уйдешь поутру, чтоб тебя не жалели,
Туда, где безлюдье кругом,
Где утро скучится на свет до апреля,
И скажешь: «Построю здесь дом...»

МАСКА

И вот человек понимает однажды,
Что он не велик, не ничтожен,—
признаться
В открытии горьком пора.

Совсем не легко не смеяться с другими,
Когда не смешно, от игры отказаться,
Когда надоела игра.

Почти как железная каска,
Спасавшая нас на войне,
Тогда — надевается маска:
Легка и удобна вполне.

(Какая неумная шутка!
А маска смеется: Ха-ха!
Спина искривляется жутко,
Повадка скромна и тиха.

Устал человек, и заботы,
И дома ребенок больной,
А маска смеется: — Да что ты?
Вот смеху-то! Смейся со мной.)

Не выглянуть из-под личины.
Какая тоска на душе!
Он не отличает морщины
От складок картонных уже.

Как будто он в страшную сказку
Попал. И, очнувшись от сна,
Сорвать ему хочется маску,
Да поздно: к лицу приросла.

НЕ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ

Говорит мне мой знакомый при свиданье:
«Видеть не рекомендуется теперь
Сны, об этом говорили на собранье,—
И косится на незапертую дверь,—
Нежелательны мечтанья,
Грезить тоже не советуют, поверь».
Обнимает он меня за плечи: «Нынче
Ночью спал я как убитый,— говорит,—
Ни цветных я снов не видел, ни обычных,
Черно-белых, ни своих, ни заграничных,
Где найти того, кто это подтвердит?»

Говорю ему: «Изволь, к твоим услугам.
Только, знаешь, снятся сны мне и мечты
Посещают днем меня».

Глядит с испугом:
«Ты наивен,— говорит,— молчал бы ты».
И понять не может он,
Что полжизни нашей — сон,
Что мечты с душой едины
И с рассудком — заодно,
Их не меньше половины
Воплотить нам в жизнь дано.

* * *

Ах, разве виновата музыка,
что кто-то слышит плоховато?
Душа бывает слишком узкою,
а музыка не виновата.
Она то кроткая, то грозная
и, как эриния, крылата.
Ах, для того она и создана,
чтоб нас терзать, нам так и надо.
Терзай, пока не станем звездами,
землей для нужд земного сада.

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА ВАЛДЕ¹

(10.11. 1973)

Не прерви, дорога, мига,
повезет — не повезет.
Навсегда заходит Рига
за кровавый горизонт.

В переулке застывают
руки, крики, слезы, речь...
Горы тьмы меня смипают —
только б сына уберечь.

Матерь-ночь, возьми с собою
не его — одну меня.
Угасает над землею
свет ноябрьского дня.

¹ Валда Фреймуте — актриса, жена латышского поэта М. Чаклайса, tragически погибшая осенью 1973 г.

Вспыхивает мысль сполошино,
не успею вам сказать:
жизнь — не роль, в которой можно
двести, триста раз сыграть.

Спорьте, улицы, судьбою
с горизонтом ножевым...
Все, не пройденное мною,
остается вам — живым.

ТЕЛЕФОН

Когда в садах стихает
Свист, щелканье и стон,
Один не умолкает
Звоняющий телефон.

Серебряное горло,
Конторский соловей,
О, как его расперло
От жгучих новостей!

Бессонница ночная.
Погода ледяная.

Когда в Египет птицы
Летят теплу вдогон,
Остаться не боится
Бедняга телефон.

Отрава и отрада,
Журавлик городской,
Железная рулада
С бессонною тоской.

Как будто он в ответе
За звезды, тьму и ветер!

Во тьме ночной затерян,
То всхлипнув, то всплакнув...
Пластмассовый нацелен
В сырую полночь клюв.

О, если б телефоны
Осениею порой,
Оставив куст крапленый,
Скрывались за горой!

Похоже это пенье
На вечное цветенье.

* * *

Кто выдумал, что все исправить можно?
Ни мать спасти, ни милую вернуть,
ни собственный проклятый суматошный
наставить нрав на безупречный путь;
свою мечту, затоптанную в глину,
как сорный куст, из праха не поднять,
ненужных дел хотя бы половину
не зачеркнуть и гнева не унять.

Кто выдумал, что горе поправимо?
Твори же добро, а злоба — мимо, мимо!

* * *

Малинник, ежевичник, можжевельник —
Зеленые, невянущие бури.
Следы стирают ветры роковые,
По кладбищу бегущие, как волны.
О, буря можжевеловая!
Лес.

Малинник, ежевичник, можжевельник
Над прожитыми жизнями клубятся.
Следы стирают ветры роковые,
Какой широкий бег, какой неровный!
Ворона нам летит
Нанеререз.

Малинник, ежевичник, можжевельник
Окрестность всю собой заполонили.
Следы стирают ветры роковые,
Был человек — и целый мир духовный
Однажды вместе с ним
С земли исчез.

Малинник, ежевичник, можжевельник —
Всё сглаживающие в мире бури!

РАЗГОВОР С ЛИРИЧЕСКИМ ГЕРОЕМ

Ташу свой воз, меж тем ко мне заходит лирический герой и глаз не сводит с меня ночной порой (не то на сына, не то на брата младшего похож). А на лице — насмешливая мина, посматривает свысока. (Ну что ж, послушаю его.) В движениях резок, он говорит:

«Стареешь... В горы книг зарылся ты, а я высок и дерзок и так корпеть над словом не привык.

Не поискать ли мне теперь папашу повеселей... С тобой не сваришь кашу: ты хочешь правду выявить и ложь, а юным — винь веселье и положь!

Без танцев жизнь как пресная водица.

Скучна мне слишком мудрая странница.

Зачем ты столько пишешь, для кого?»

Зачем пишу? Чтоб стать в глазах героя лирического чудаком; прикрою глаза рукой: жаль дела своего, труда ночного.

Видится мне море, но я не буду бурей той, что вскоре придет; хотя, наверное, мой труд послужит тем, кто в завтрашний шагнут день...

Я трудился, чтобы он героем называться мог...

Он говорит: «Расстроим ряды, простимся, нам не по пути, ты все сказал,— я выслушал. Прости!

Теперь без старших сами скажем слово, какого мир

не слышал: гром и град! — оно прекрасно тем уже, что ново.

Так дождь шумит, так почью дышит сад. Так будит крик, притягивает шепот».

Он говорит: «Короче говоря, костер твой жалок (что нам чей-то опыт?), ты не щадил всю жизнь себя — и зря!»

И он уходит в джинсах с ярлыками; он упоен своими пустяками, он слишком юн (а день мой между тем плется к ночи, серенький совсем).

Но время есть еще у нас в запасе.

Герой поесть зашел в кафе; попросит вина и кофе, с девушкою в круг потанцевать пойдет,—

а нам, мой друг, пока живет он с легкостью такою, еще подумать можно над строкою.

* * *

Всю жизнь ищу повсюду это слово; как пес голодный, рыщу я по следу. Ловлю и гром, и шепот. В дождь. По спегу. Себя разрушу — иль миров основы взорву?.. А слово ускользнуло снова.

Любовь, ты говоришь? Да, правда, правда. Как радуга, что высоко взлетела над ясенями старыми в два ряда; ее впитать любая капля рада,— и также и душа моя, и тело.

Но ведь любовь — она как миг цветенья. И в колосе слышна она. И — тенью таится в яблоке... да и в черве, пожалуй. Но где она, когда багряный, ржавый пожар листвы раздует ветр осенний?

Как пес голодный, упустивший зверя, надеется застичь добычу в чаще,— с надеждой открываю твои двери. Но чаша повседневности горчащей там ждет... Я сам себе почти не верю.

Нет, я искал другое слово: жажда! Оно творит, оно растит, и лепит, и вьется стягом над дорогой каждой... там и любовь, что нас свела однажды.

И в сердце — неизведанного трепет.

Стихи разных лет

РАЙНИС В МАЙОРИ,
СЕНТЯБРЬ 1929 года¹

«Я был призван сделать вас свободной,
Возвратить вам смех, давно умолкший,
Дать второе зренье,— дабы в сущем
Проступало явственно былое,
А в былом — грядущее светилось».

«Жизнь как матерьял — богаче глины;
Если человек из глины создан,
Что же можно вылепить из жизни?
Человека — но таким, каким он
Станет через многие столетья...»

«Отчего мне веку не хватило
Моего? Восходов? Моря? Чаек?
Главное ж: гармонии, что землю
С небом и душой соединила б,
Оправдав навеки жизнь и смерть».

«Значит, что ж: стена меж мной и вами?
Латвия! Зачем блуждал я в муках?
Значит — пропасть прямо в этих дюнах,

¹ Райнис умер в Майори 12 сентября 1929 г.

Бездна — в травах, здесь, перед порогом?
И бескрайность моря — не спасет?»

«Что за шорох, тайный шепот в соснах?
Отчего пуста поверхность моря?
Кто я? Что я? Только горстка праха?
Прометеи, твои ль звенят оковы?
Или в сердце старом — этот звон?»

«Но ведь это правда: я был призван
Опрокинуть злую тьму столетий,
Стать собой — но и других постигнуть,
Светом вымыть и наполнить очи,
А не грузом отягчить вам плечи...»

«На губах моих — свободы имя.
День молчит. Так что же, где же отзыв?
Я принес вам песню. Что вы ждете?
Я дарю-ю! Несите ее дальше,
Кто ж ее подхватит — вместо вас?»

«Кто навек ушел — тот петь не в силах.
Нету плеч — такую вынести песню,
Нету ног — подняться и воспрянуть,
Нету губ — чтобы творить дыханье.
Вечным ложем стала им земля».

«Значит — онемею? И надежда
Лжет? И смерть любви кладет предел — и
Все напрасно? Нет. Не все напрасно.
И любовь, сто раз пройдя сквозь гибель,
Может быть, в сто первый — победит».

* * *

Землю, словно святое писанье, я читаю: сирени
касанье пробуждает надежду. Блистанье звезд жас-
минных — надежду внушиает. Так же вишни в цвету
утешают. Евы, Даце в свой час расцветают, и таинст-
венно чар вызреванье.

Книгу-землю читаю всё снова, в ней всех мудро-
стей суть и основа. До упаду шагаю пешком. Загадаю
в метели цветенья: пусть красот этих жизнь и спле-
тенье не прервётся в тоске и смятенье, не исчезнет
шанс ни при ком.

Тьме и ужасу вся-то преграда — толщиною в цве-
тение сада.

Дом. Любовь. И надежды услада.

* * *

Я никогда не сержусь
на листья за то, что они
листья.

Никита Стенеску

Пожалуй, теперь уж и я не сержусь
На то, что тебя я не нереиначу.
Да, ты чуть не плачешь, когда я смеюсь,
Зато веселишься, когда чуть не плачу.

Но я не сержусь. Ты в поступках вольна.
И сетовать было бы странно тем паче,
Что танцы дороже тебе, чем Луна,
Меркурий и пара созвездий в придачу.

Терпенье мое ты не больше щадишь,
Чем конюх неправедный — смиренную клячу,
Но понял я: ты — это ты. И, глядишь,
Вконец хладнокровье свое не утрачу.

Ты злишься, что я сохраняю покой?
Стаповишься в гневе глухой и незрячей?
Что ж, я принимаю тебя и такой:
И слишком холодной, и слишком горячей.

Но некий бесенок, исчадие зла,
Мне на ухо шепчет, ехидства пе пряча:
Ах, если б хоть раз бы она не была
Собою самой! Вот была бы удача!

* * *

Строят гнезда. Роют. Месят. Крыши кроют... Как цыган, иду себе, играю. Те, кому был суженым, ждут супругов с ужином. Я иду, я песни подбираю.

Мненья образуются: «Вам бы образумиться! Вон уж, на танцульки ходят дети. Что бы попикантней... А пантини для Антыпей¹ — это ж просто жизнь бросать на ветер!»

Становлюсь чувствительным. Все пройдет, действительно, прежде чем почуешь, с чем расстался. Жизнь стоять не хочет, миртовый веночек² поколению новому достался.

Что ж теперь, беречься? Что ж теперь, отречься от всего, что вырастил, с чем прожил? Расцветают розы.

Отцветают розы.

...И капуста отцветает тоже.

¹ Т. е. «куплеты для Антыней». Антынь — простак, третий, «глупый» сын в народных сказках.

² Миртовый венок — свадебное украшение невесты.

ИНТЕРМЕДИЯ

Гляди, как научены
лучиться речные излучины.
На шпилях церквей петухи золотятся
(живым петухам в такую-то высь
ни в жизнЬ не подняться).
У них гребешки горят как огонь.
Ты дай мне ладонь,
в которой пульсирует мне незнакомое лето.
Это
позволит почуять, кто ты,
из каких ты людей.

Завидую всем твоим веснам
и зимам и осени каждой твоей,
но лету — особенно; лету с цветами, с пчелою
тяжелой, с пространством бездонного,

светлого дня.

(Летам, до меня пережитым тобою,
летам, которые ты еще проживешь без меня.)
Еще вечерам, долгим-долгим, пахучим,
а также дождям, также — снегу, и тучам,
и поздней усталости —
в час, когда двое, вдали суety,
невидимо в мир этот строят мосты.

Над Старою Ригою горбятся старые крыши,
корявы, стари, как земные печали.
Но с ними яснее вдруг видишь и слышишь,
что было в конце, и что есть, и что будет

в начале.

Лицо твое древним сияньем сияет.
Дома — как органные трубы. Теперь я —
сбежавший от мастера строгого подмастерье,
ни рай не прельщает, ни ад не пугает.
Невидимым, теплым кольцом окружает
дыханье твое.

А в Домском — органный играют хорал.
Мой мастер — мастер читать мораль.
«Откуда твой норов? И хватит гулять руки в брюки.
Тебе уж давно бы пора выдавать мейстерштюки!»¹

Откуда? Ах, мастер, работу души не пощупать,
а есть ли на свете работа нужней?

И — безвестней?

Горят петушиные гребни в закате.
...Я песней хочу быть.
Рокочут моторы.
...Хочу быть песней.

¹ М ейст ер шт юки (искаж. нем.) — шедевры, образцовые вещи.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

С какою вестью ветер к нам, с какою вестью
Лист — поздней птицей — бьется о стекло?
Не говорит. Под серым поднебесьем
Его к другим оконкам понесло.
Давай и мы держаться с ветром вместе.

Он от волны балтийской. В этой мгле
Снежинки первые он сыплет на предместья,
Мешает тучи в небе, как в котле.
Тревожны, горьки мысли о Земле...
Давай и мы держаться с ветром вместе.

Как поздно — для меня — сказать по чести,
Взошли два солнца эти из-под век!
Сев нынче? Жатва? Не пойму. Предвестья
Зарпиц далеких. В небе — ветра бег.
Давай и мы держаться с ветром вместе.

МОЛИТВА
ПОЭТА ЮРИСА РАМАНИСА
НА ИСХОДЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

И криком журавлиным вскрикнул я...

Ю. Раманис

Великий боже, глянь, душа моя
Поругана, уязвлена жестоко.
На милость божью уповаю я:
Ты знаешь, от людей немного прока.

Как барщина, был тяжек груз судеб.
Промчались роем дни. Я стар до срока.
Ах, боже, дал бы ты мне угол, где б
Вздохнуть, не слыша браши и попрека.

Был мой удел — в грязи, в дерьме брести,
Но не стыжусь себя ни вот на столько.
Пшеницу отделишь от плевел ты,
Тебе весь путь мой ведом, от истока.

Мне скоро собираться в мир иной.
Но перед тем, как рай окину оком,
Господь, пошли мне корочки ржаной...
Не дай глумиться злобе и порокам

Над нами. Господам топтать не дай
Жизнь нашу, честь безбожно и жестоко.
Коль можешь, боже, унеси наш край
От них подальше, далеко-далёко...

* * *

Не только то, что есть,—
Есть судьям неподсудный
Незримый бег времен,
Событий ход подспудный.

Что было всем в глаза —
Вдруг призраком растает.
Л тайна из глубин,
Как дерево, прорастает.

* * *

Думать о них.
Их дыханье
Слушать, как душу свою,—
В гору идущих,
В горе бредущих
Гибели на краю.

Даже и корчась от боли,
И в наилучшие дни
Ты — для других незримо —
Руку им
Протяни.

Сколько сможешь —
Храни их.
Чем силен —
Защиши.
Злобный недуг
И пуля
Знают, как их найти.

Как они неприкаяны!
Жизнь к нам —
Зверя лютей.
Но мы б
Обратились в камень
Без них,
Без этих людей.

* * *

День этот: темное море волною играет, лед прибрежный ломает шутя; чайка с утра под окончико то-варок скликает — чаек окрестных; заря зажигает полгоризонта, светясь и светя.

День этот: как перелетная, к цели пришедшая птица. Таёт у берега крошево льда. Сила зеленых побегов проснулась и всюду таится. Снова земля, как итепец, молода.

День этот — вижу теперь — украшение года. Землю ростки пронизали, чуть слышно звения. Ты обняла меня, как обнимает природа, к радости нетерпеливо толкая меня.

* * *

А лишние надежды брось,
Не так уж много нам осталось.
Спасибо — вместе, а не врозь
На этом свете жить досталось.

Когда ж терять придет черед
Все, что казалось так неполно,—
Вновь э т у землю взгляд найдет,
Ее любя, себя — не помня...

ЗИМА ПОЕТ

Снегу, снегу-то, смеху-то, смеху! — Виши, глазами блестит детвора. Пол-Европы в сугробах. С утра кто-то валит корзинами сверху, сыплет снег, не жалеет добра.

Так белы, так нетронуты дали — прямо здесь же, под Ригой! Давно мы подобных картин не видали; только память крутила кино.

Зимы юности, детства... Нехватки. Наше трудное после войны. Едем в гости на квелой лошадке. На деревьях огромные шапки. Из-за снежных валов не видны ни дуга, ни оглобли, ни сани, ни лошадка, ни, ясно, мы сами.

Ах, морозец-мороз, как он жжется! Шасть из дома, в одном пиджачке, руки голые... Мимо колодца, по тропинке, бегом, налегке... Ах, морозец, в тебе столько зною, и заранее губы горят, стыд и радость горячей волною обдают от макушки до пят... С той поры мне казалось — струною наши зимы поют и звенят.

Ширь звенящая, звонкая воля — зимы, зимы...
(А впрочем, порой... из-за атома... химии,
что ли... — но зимы не бывало зимой.) Мир,

останься прекрасным до боли; ты, зима, оставайся собой!

...Давних зим соболиные брови. Только солнце заката — о крови вдруг напомнит... Былые дела.

Пой, зима. В нашем северном крае ты расцвета пора. Расцветая, ни добра ты не помнишь, ни зла.

Спег повсюду — какое веселье! Взгляды чище, светлее дома. Словно компаса стрелка — на север я смотрю.

Пой, зима! Пой, зима!

КУРТКА

Годы эти — со мной. Позовут — я откликнусь...
Лен в мочилах отмок, и приехал к нам Линус.

Был портной из Литвы юн, пожалуй, и статен.
Знал латышский, притом был он с виду приятен.

Он кроил, он порол, и его уважали,
хоть девицы порой на примерках визжали.

Из военных одежд, при его-то споровке,
шил он штатскую вещь, вроде куртки-штурмовки.

Мне казалось тогда: не затем ли Победа,
чтоб в той куртке блеснуть перед дочкой
соседа?

Эта куртка пришла из такой круговорти,—
из войны, из огня, из-под носа у смерти.

А теперь на танцульки проникать наловчилась,
мяч тряпичный гонять. А еще — научилась
прикрывать после танцев девчоночью плечи...
И — на липу взбираться! С этой липы далече

виден мир. Открывается четверть вселенной.
Только застит глаза грустью послевоенной.

Эта куртка картошку в мокром поле конала
и нисколько не мялась, куда бы ни попала.

Сшил мне куртку портной, по фамилии Линус.
...Годы эти со мной. Позовут — я откликнусь.

МГНОВЕНИЕ У РЕЧКИ МЕМЕЛЕ

Солице высоко стоит — незаходящее,
Кисти черемух, река, сквозь них светящая,
А посредине — душа, песню творящая,
К тайнам глубинным своим
Тропку торящая.

Ах, как струится вода,
Как торопливо течение.
Весла опустим. Ну да,
Жизнь — лишь мгновение.

Но и мгновение —
жизнь,
Свет животворный струящая,
В кистях душистых цветущая,
Вечную песню творящая.

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ,
ИЛИ АМЕРИКА, АМЕРИКА»

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Я все оставил там, в Европе, дома, перед огромной
преградой водной, а взял с собой поэтов-янки строфы:
свободный стих — или почти свободный...

В Лос-Анджелесе ждали. Перед домом рядом стояли
дети: Линард, Зане (латыш, латышка), дальше —
Виго Даи, китаец, а за ним — Хозе, он мексиканец;
далее негритянка, маленькая девочка, и все сказали дружно, хором:

Свейкс!¹

(один, как видно, спутав, крикнул: «Snakes!»²) —
лишь Триумфальной арки не хватало. Тень Швейка
надо мной уже витала... Но тут Хозе добавил по-ла-
тишски: «Ну, я пошел», — спасибо, верный тон нашел.

(Десяток слов латышских — школа Зане и Линарда,
как мне потом сказали.)

Так мне врата чужой страны открылись. Стояло
солнце, небеса светились, лужайка зеленела, точно
плюш. И тут во мне догадка поселилась — насчет...
ну да, переселенья душ.

¹ Привет! (латышск.)

² Змеи (англ.).

Может, был я однажды испанцем,
а Хозе — латышом?

Может, в Африке Запе однажды
кralась в джунглях к реке на гишом?..

Открывались черты новых лиц, голоса, и чужое не
шутало платье. Я почувствовал: здесь, со своею несход-
жей судьбой,— мои сестры и братья. Эти белые, жел-
тые, черные девочки, парни и девушки могли бы мне
быть. Мы от корня общей какой-то прапамяти: трудно
вспомнить; труднее забыть. Когда встретились руки,
сердце дрогнуло. «Мы знали друг друга когда-то
давно»,— подсказало оно.

Может, время — через океан, с одного континента
на другой — переправить способно и надежды люд-
ские и боль, как везет нас паром через Гаю, Венту?

А с другой стороны, глянь: почти полстолетия кра-
ду, и не видно этому краю,— что одним из нас кажет-
ся адом, для других приравнено к раю...

Время сурово — суров и закон.

Будем ревниво хранить что угодно...

по — не стихи: им нельзя под замком.

Стих — и свободный, и полу свободный,
и зашнурованный, как в корсет,
в ритмы — под спудом держать не след.

Я отдаю эти строки задаром всем друзьям, и юным
и старым, негритянской девочке-стрекозе, Запе, Ли-
парду, Вито Даи, Хозе.

Получать бы им с малолетства не вражду от пред-
ков в наследство, а —

солнце над головою,
песню, чистейший стих.

И руки земных континентов,
защитить готовые их.

ПРОГУЛКА В ГОЛЛИВУДЕ

Здесь, где царят
попугайно яркие краски,
где вечно праздничный
город и пестр и болтлив,
где человеческих воль
то прилив, то отлив,
где героини, герои
последней всемирной сказки —
звезды кино —
расписались на асфальте
свою рукой
(Гreta Гарбо, Дуглас Фэрбенкс,
Софи Лорен и не одна еще дюжина);
здесь, где в прокуренных зальчиках
льются напитки рекой,
где танцовщиц полуголых
и плечи и спины натружены
(пиво смакуя,
смакуя и танец, юнцы
доллар бросают им
с важностью принцев наследных),
где лишь читали
о путчах и о голодных смертях,
о диктатурах, о пытках

и прочих вещах неизведанных
(My God! Те десятки миллионов погибли,
и пески поглотили их плоть,
и моря зализали их след!..),
здесь — что за пальмы! —
их опахала роскошны и гибки.
Здесь — что за солнце,
струящее экстра-тепло, экстра-свет!

Здесь,
где видел я
пылкой надежды побеги
и где носятся образы
чьеи-то побитой мечты,
здесь, где кровь честолюбцам
о славе поет, о победе,
говорю: «Жизнь,
мила бесконечно мне ты!»

Я любил, я люблю,
я любить не устану
родники твои, жизнь,
уходящие в бездну колодцы.

И когда нам сойти в подземелья глухие
придется,
в неизбежную тьму,—
сердце, жизни хвалу и осанну
не забудь. Не отринь ни печали, ни радости,
не завидуй прошедшему — даже оттуда.
Да не троает свершенного
смерти остуда.

Упивайтесь, глаза,
упивайся, душа,
до беспамятства, до опьянения

бурей красок и звуков,
ароматами, вонью земной
и красотами песнопения,
и высотами, и низинами —
человечьими и звериными!
Чтобы жизнь оставалась жива,
чтобы мы оставались людьми,
My God! Бог ты мой, дай нам то,
для чего мало даже
пяти наших чувств:
дай любви!

И чтоб мы оставались собой,
чтоб в других мы не растворялись,
чтоб своей земле доставались,
нас кормившей и в самые тяжкие дни
полувысохшей грудью.

Полуголая девушка
подошла,
подливая пиво, спросила:
«Европа? Небось никакой родин?
Объясняться трудно?..»

СУБЪЕКТИВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БУЛЬВАРЕ САНСЕТ

Бульвар на закате. Закатный бульвар... Ерошу седые власы, шлю отсюда привет мой всем, кто неспосней мне делает жизнь, всем, кто делает жизнь мою светлой.

Мне кажется, был я гудящий улей. Пчел отпуская, ждать был готов; вернутся — спрошу их: с чем вы вернулись от человеков и от цветов?..

Улей поющий до бурь и дождей жил в равновесии света и теней меж старых мыз, и амбаров, и риг, меж хуторов и колхозных стрений.

В чем, перед кем я повинен? В меде — горечь полыни.

Мать недавно ушла навсегда. Горек вкус на губах полынnyй. Рой распался. Какая семья устоит без матки пчелиной?

Где были соты — зияют пустоты. Кто здесь, что здесь виною? Прощаюсь я? Превращаюсь? Обращаюсь во что-то иное?

Изменились, мсяются дочери. Превращаться,
видно,— их очередь.

Ты уходишь дорогой дальней, милая? Ну, а
мне, куда мне?

Запоздалой пчелой колочусь об стекло небес:
я могу только с вами, вы мне нужны позарез!
Я хотел бы в тот мир, где никто не погиб, где
никто навек не прощается; где другие в меня
превращаются и где я превращаюсь в других!..

ОТЕЧЕСТВО

Пел нежно? Тихо? Пел я как умел.
Прости меня, что большего не смог.
Отечество, и без моих ладоней
твой небосвод останется высок.
Его я открываю, как окно,
какой бы ни безумствовал в нем ветер.
И в этот мир я трепетно вхожу.
Отечество прекрасное, ответь мне:

Чем сердце мое было для тебя?
Летком пчелиным?
Иль ромашкой белой?
Или долиной мглистой?
Отчего
прошу прощенья, что бы я ни делал?

За что? Не знаю,
все равно прости!
Мне было предначертано, быть может,
щедрей плоды пести, а я все цвел,
я цвел и пел...

Но в том виповна тоже
та жажда странная...

Из-за нее
бывал я до отчаянья несчастным,
и вновь счастливым,
грешным и святым,
то тяжким льдом окованым,
то страстным.

Что сердце ни кричало ей, она
как будто бы и крика не слыхала,
всегда в одном самой себе верна:
что ни давала, то и отнимала.
И увядали, как цветы, слова:

— Придут другие петь сильней и лучше.
Вот-вот совсем замолкнет голос мой.
Л в час, когда ты перестанешь мучать,

тогда песок на тьму в моих глазницах
посыплется, и на моих губах
слова уже не будут горько биться:
«Я жил тобой одной, из-за тебя
не знал покоя даже и во сне я...»

Отечество, прости мне, что не мог
нежнее петь, пленительней (грешнее?)...

* * *

«Стать бы снова молодыми —
Сразу мир преобразится:
Яблоками заалеют
Кроны лип. С берез орехи
Станут сыпаться, а розы
Нежно заблагоухают
На ольхе. Быка огромней,
Выйдет наш петух,
И куры
Нам снесут такие яйца —
Не увидишь
дом соседский!»

«Стать бы снова молодыми —
Будешь ты луну, как сакту¹,
На груди носить. Подарим
Шестерых друг другу дочек...

¹ Брошь; принадлежность латышского национального женского костюма.

Статных сыновей — не меньше...
В ледяных усталых реках
Разольется половодье
Медом чистым. Воробы же
Разольются соловьями
Так, чтоб слышала округа!..»
«Стать бы снова молодыми...»
«Хоть сто раз скажи — не станешь!»

ПОЗДНЯЯ ДОЧКА

Должен расстаться, отдать,
отпустить
это мгновенье. Оно расцветает
лютиком в поле, а поле опять
от многолетних трудов отдыхает.
В чем-то пытаясь предупредить,
гром грохотнет
и вдали умолкает.
Чем же до сумерек руки занять?
Что еще должен скосить я, убрать?
Дочка-малышка, смеешься, поешь,
мир мой меняется, если ты рядом:
новое время звенит падо мной!
Рядом с тобой торопиться мне падо —
быстро меня к горизонту ведешь.
В спешке однажды исчезнешь...
И мой
шаг вдруг притихнет на тверди земной.
Но поцелуи, и ссоры, и смех,
бег поездов и громов перебои
будут, останутся... Миру цвести,
если и сникнет дыханье земное
в сердце моем не на миг, а на век.

Поздняя дочка, ты лучшее, что я
миру земному мог в дар принести.
Зернышко чистой природы, расти!
Жить еще долгую жизнь без меня.
Жаль, что помочь уж ничем не смогу я,
стану немым средь песчинок немых...
Пусть же цветет этот лютик, ликуя,
пусть же цветет в бороздах паровых
для сыновей и для дочек твоих.

ТОСКА ПО СЫНУ

Мяч под облако кинь.

Намотай же дорогу, как пряжу,
оседлав свой мопед.

Или музыку громко включи.

Хочешь, с другом болтай
во дворе до полуночи даже.

И о том, что хвалю,
ты: «Терпеть не могу я!» — кричи.

Выходи на заре
слушать колокол веящий
вселенной.

Землю рой! Восклицай:

«Чао, мама, и чао, отец!»

И к ошибкам моим,
без одной было сто, непременно
эту сотую ты
от себя и добавь наконец.

С кручи дерзко слетай,
по поселку на лыжах, как ветер,
проносись... И целуй

ту и эту, без лишних забот.

И не помни о том,
что за все безрассудства в ответе,

за твои, твой отец
на себе уже волосы рвет.
То ли в омут страстей,
то ли в море мечты заплывая,
возвращайся домой,
приплывай из бездонных глубин.
Ты не знаешь о том,
как всю жизнь я тебя ожидаю.
Как всю жизнь я с тобой
говорю, неродившийся сын.

МОЛОДЫЕ СОСНЫ

К светло-зеленым приники я
веткам
так легко мне и радостно жить.
Сосенка, лучше ли быть человеком?
Все рассчитать
и куда-то спешить?

Можем похвастаться
часом зенита,
так он высок!
Но он есть и у вас.
Вы же молчите.
Легко и открыто
ваша приветливость льется, лучась.
Где еще можно увидеть такое?
Видел средь весен не только же я,
как шелестела и пела здесь хвоя,
ярко в зените
жил день бытия...

В облике разном пускай мы родились,
знать нам и радость,
и тяжесть беды.
К солнцу, как люди, всегда вы стремились,

были, как люди,
в метели
седы.

Не с превосходством,
с виной перед вами!
Вас ненасытней мы были не раз:
в спешке рубили...
И все же... корнями
с вами сплетаемся, в землю ложась.

Не оттого ли,
что нами не спето,
спеть вам дано
и ясней,
и сильней,
как не дано, может быть,
и поэту?..
Сосенки,
правда,
без вас я бедней.

РОМАНС

...и когда все дошло до предела,
ни пути впереди,
ни огня,
я услышал репейник:
запел он
о любви, пепелище храня.

...в липах кто-то шептал,
и прохлада
странным ветрам была там сродни,
и как шипы шоссе,
душу сада
разрывали на части они.

...свет со мглою
той ночью сплетались
и лились из глубин бытия,
а в саду дерзко вели¹ смеялись?
Или черт надо мной?
Или я?

¹ Души умерших (близких).

...вдруг увидел я
на небосклоне
очертанья в тумане
твои,
ты ко мне протянула ладони
«завтра»...— мне прошептала...

...любви
так хотела душа,
что обещано
было это иль нет, не пойму.
Только знаю я: вечность и женщина
равнополики.
Тебе потому
не исчезнуть!

...когда исчезает
все в тумане,
земля среди мглы
бездны даже в садах разверзает,
как смола в них чернеют стволы.
Лишь репейник собой остается,
о любви все поет и поет.

...да и в дуплах все кто-то смеется —
то ли добрые вели, то ль черт.

МАТЕРИ

I

О боже, только миг я с ветром детства побыл,
но столько вспомнил...

Холоднее гроба,
боялся, будут комнаты,
но мига
хватило, чтоб увидеть: вот мотыга
истертая, как жизнь твоя, годами.
А вот халат рабочий...
и цветами
далекое вдруг всыхивает лето...
И снег былого сыплется...
Сквозь это
не раз пройду я со щемящей болью,
чтоб жизни снова «да» сказать с любовью.

II

И вступил я в тот жизненный круг,
что не мне одному предназначен.
Мама, нет на земле твоих рук,
целый мир вместе с пими утрачен.

Без дыханья
без твоего
моего не хватает мне часто.
Стало мельче мое,
оттого
сокращается время, пространство —
все стремительно в вечность течет.
А тебя кличет ветер унылый.
Кружит памяти водоворот
то цветок, то траву, что косила.

Спи под солнцем, под тучей почной.
Все в себе ты недавно вмешала.
А теперь ты — во всем!
Круг земной
замыкая, ты вечную стала.

* * *

Здесь родились мы...
Ничем свободу нашу не стесняя,
Уходят хутора из жизни...
Знаю:
Высокомерие бродяг едва ли
Уместно здесь, где строили, мечтали.
И в заблуждениях, и в суеверье
Не больше утопали, чем теперь мы.
Работали веками,
В смертной муке
К любимым здесь протягивали руки...
В декабрьский день здесь ряженые пели,
И пели в Янов...¹ Снова в колыбели
Дитя качалось!
Супом из крапивы,
Коль не было другого, были живы,
Молились вымени коровы бурой
И в день недобрый не бывали хмуры
От хлеба с лебедой и от картошки.
А в праздники пшеничные лепешки
На все луга вокруг благоухали!

¹ Праздник Ивана Купалы; в этот день (Янов) поются песни («лиго»).

Да, здесь на хуторе мы вырастали!
В гнилушки превратился дом добротный,
Но все равно — он не огонь болотный,
Блуждающий безвестно где почами:
Здесь наших предков крепкими костями
Дорога паша вымощена

в дали.

Здесь родились мы...
Здесь мы вырастали.

Внуку Матису

Взглядом чистым, изумленным ты на нас глядишь
онять, в мире иссиня-зеленом учишь, Матис, нас играть;

под высоким этим небом мир догадок, что ни шаг,
вместе с корочкою хлеба, вместе с быстрыми «тик-
так»...

Море, нес, машина, кошка...— можно многое хотеть!
Сладко-горькою дорожкой вновь пройти — помолодеть.

Изумленный взгляд, открытый... Мир, своих чудес
не прячь! Родичи добры? Сердиты? Все равно — ловите мяч!

Снова бабушке — шестнадцать, мама — сверстница
твоя, и мальчишкой стал казаться сам себе теперь и я...

Радость, что твое дыханье наполняет, льется в нас;
обновилось мирозданье, незнакомо все сейчас!..

* * *

Хочу туда, где сосны сини
И полдни синими встают,
Где кровеносные сосуды
От небывалых сил цветут.

И где с жужжанием пчелиным
Летят секунды!
Где вот-вот
Седой грибник с корзиной полной
Как дух лесной на холм взойдет.
— Как поживаешь? — мягко спросит.
— Так... попемножку... —
А его
Уже не видно... Так проходим
Среди народа своего,
Пока нас время не укроет...

Но полдни синими встают,
И кровеносные сосуды
От небывалых сил цветут!
И что бы ни накаркал ворон,
Слепым предчувствием томим,
Еще восходы и закаты
Живут пыланием одним.

* * *

Проезжая
мимо, повторяя
твое имя, шлю тебе привет.
Свет в окне погашен. Тьма сплошная,
может быть, тебя и дома нет.

Нету краше
желтизны опавшей,
под стволами — жаркие ковры.
Кажется, мы встретились до пашей
эры. Осень. Дымные костры.

Слабое свеченье.
В отдаленье
радары прощупывают даль.
Кроме боли, есть и облегченье,
как заглянешь в давнюю печаль.

Что за сила
в том, что с нами было!
Где теперь стихи те и дела?

Миллионы лет назад застыла
янтарем пахучая смола.

Проезжая
мимо, вспоминая
те года, с тоской гляжу окрест.
Ветер, ветер, где любовь была?
Отвечает:
«Ite, misa est»¹.

¹ «Уходите, месса окончена» (лат.).

НА КРАЮ СВЕТА

Когда пред тобою затихнет волна-непоседа
И встанет туман на пути,
Покажется, будто достиг, наконец, края света
И некуда дальше идти.

Задумчив, стоишь перед кромкою синего моря,
Как если бы цели достиг.
Овраги, дороги, холмы и холмистые взгорья,
Которыми шел напрямик,
Лежат за спиной, и прекрасен в песчаном уборе
Морской затуманиенный лик.

Край света, ау!
Хоть бы в этом блаженном покое
Какой-нибудь вихрь
Вспучил гору, дорогу прорыл! —

О, как бы я шел,
И плескалась волна под ногою,
По мокрым шоссе,
По откосам, вдоль влажных перил.
О, как бы я шел,
Торопясь от привала к привалу,
Какое блаженство — идти!

Любовь моя,
Как был бы рад я и вихрю, и шквалу,
Но только сквозь мрак,
Сквозь туман,
Как маяк,
Мне свети.

Не так ли я шел
По цветущей, дымящейся суше,
Где только ни спал — на скамье,
И к теплому стогу припав,
В шалаше, и снаружи,
И в доме чужом
На прохладном, крахмальном белье.

При этом со мной
И во сне оставалась ты рядом.
Но вот он, край света, увы!
Притихшее море
С ленивым, спокойным пакатом,
И тише воды оно кажется,
Ниже травы.

Ах, коротко счастье,
Как ночь пакануне Ивана Купала:
Цветет ли там папоротник —
Рассмотреть не успел.
Край света — край жизни,
Как ты, мое сердце, устало!
А все-таки жил,
И любил,
И спешил,
И горел.

* * *

Одно лишь ласковое слово
И ночь туманная одна —
И вот душа на все готова,
Мечтой задета, влюблена.
Так соблазнителен, и ярок,
И желествен этот был мираж,
Как будто дан судьбой в подарок.
Ах, за него и жизнь отдашь.

Кричал петух. Я как убитый
Спал, но предчувствовал во сне,
Что на ногах своих копыта
Увижу, страшно стало мне.
Я превращения боялся
В сатира, фавна... что за бред?
Во сне цветочек осыпался.
Я вспоминал: мне много лет.

Когда все знаем, понимаем,
Боимся клятв и громких фраз,—

Тогда любить мы начинаем,
Когда уже не любят нас!
Когда закат горит багрово
И проступает седина...
Одно лишь ласковое слово,
Лишь ночь туманная одна...

ПРОСТАЯ ПЕСЕНКА

Хотите песенку простую
Теперь услышать от меня?
Я запрягу, как зарифмую,
В простые сапочки копя.

Поедем по простой дороге,
Простые клепы по бокам,
Простое сердце греет ноги,
Склоняясь к таким простым снегам.

И я, уж это-то понятно,
Такой простой, в сапях сижу
И эту песенку певнятно
Пою так просто, как дышу.

И все? Не так уж это мало.
Февраль. И снег. И снежный край.
А май придет — и все сначала.
Вздохнем, очнемся. Просто май.

Тащусь, доволен жизнью бренной,
В сапях, не молод и не стар,
И конь простой, обыкновенный,
И еду просто на базар.

И дыма радуюсь затяжке,
Чуть горьковатой и простой,
И в солнцем залитом овражке
Стою, сказав коню: постой!

Простая песенка поется,
А жизнь чем проще, тем сложней.
Не вся разгадке поддается
Душа: еще есть тайна в ней.

ПЕСНЯ О КРАСНЫХ ВИШНЯХ

Когда не поется, и губы безмолвны,
и мы спикаем безвольно,
и мир навалился па нас —
разъезженный тарантас —
ты спой тогда песню о красных вишнях,
о спелых и сочных вишнях.

Да, вишни были красою сада,
отрада его и моя награда,
я помню их мякоти сладостный вкус;
но осень пришла, и смородинный куст
пожух; и дождик стучит по крыше,
и впору зачать мне песню о вишнях,
о красных и сочных вишнях.

Как губы у девушек, были вишни,
как краски заката под вечер вешний,
как веток пожар, как красная кровь,
как в юные годы любовь,
и вот потому я пою о вишнях,
о красных и сочных вишнях.

А жизнь человека — сородич сада,
с плодами, бутонами, но не надо
колючек, шипов, сорняков,— а надо,
чтоб утро было, и чтоб надежда,
и чтобы скворец — а закроешь вежды —
чтоб не было слез на прощанье лиших,
ты спой песню о красных вишнях,
о сочных и спелых вишнях.

* * *

Нам жить, не знать беды,
Цвести — как можно дольше,
И приносить плоды,
Притом — как можно больше.

* * *

Счастье, может быть, и есть уменье
Жизнь вместить в звучащую строку,
Но и без молчанья, без смущенья
Я представить счастья не могу.

Запретишь во тьме сомнуться векам,
Кровь уговоришь ускорить бег,
Дерн искать велишишь себе под снегом —
И промчится, как мгновенье, век.

Дальше, дальше, с первыми лучами,
Что ты роешь, ищешь, боль терпя?
Пробуешь поднять пад мелочами
За волосы самого себя.

О, не из-за Евы и Адама,
Ни при чем тут змей, — его не тронь, —
Ты в конфликте с богом, скажем прямо,
Если ты идешь украдь огонь.

Знай, не пропадут твои усилия,
Будь уверен: как века назад,
Тот орел уже расправил крылья,
Цепью ржавой той уже бренчат.

РУДОЛЬФ БЛАУМАНИС¹

Мысль убитая оживет,
Сколько раз оживет — не счастье:
«Мое золото — мой народ,
Моя честь — его честь».

Чайка на прибрежном песке,
Как ромашка, белым-бела,
И стоит на одной ноге
Лист, грязи стыдясь и зла.

Вяжут зимние, знаю я,
Рукавички, весь двор — в снегу,
А на камне морском змея
Мелет, мелет свою муку.

И синица приносит весть,
Что за милой на полпути
Жизни — в чащу нам поздно лезть —
Там ее уже не найти.

Блещут влажные от дождя
Клены яркие и кусты,

¹ Крупнейший латышский писатель-реалист (1862—1908).

И под радугой проходя,
Вновь от счастья хмелешь ты.

Мысль убитая оживет,
Сколько раз оживет — не счастье:
«Мое золото — мой народ,
Моя честь — его честь...»

24 ДЕКАБРЯ 1982 ГОДА

Приходит утром телеграмма.
Зачем се нам принесли?
В песок уходит наша мама,
В сырой песок родной земли.

Пока еще не под землею,
Л на земле... Какая боль!
Шаги твои за тишиною,
Расслышать голос твой позволь.

О мама, мама, пусть разлука
Помедлит, где твоя рука?
Какая боль! Какая мука!
Я плачу, вот моя щека.

Коснись ее. Под зимним снегом
Лежат поля, заметены,
Готовы стать твоим ночлегом.
Но память жжется, спятся сны.

Приходит утром телеграмма.
Зачем ее нам принесли?
В песок уходит наша мама,
В сырой песок родной земли.

О ХУЛЕ

Хулить былых друзей —
не то же ли,
друг милый,
что старую любовь хулить:
тут есть вина
и наша.

Присмотрись:

волна лишилась силы,
лежит у наших ног
опавшая волна.

Хулить былых друзей
не то же ли, что стекла
бить дома своего,
швырять булыжник в сад
свой собственный?..

Пускай щека от слез намокла.
Измены? слабость? ложь?
Прости.
И нас простят.

Так скроен человек.
Мелодия печальна,
но на ноги она поставит нас с тобой,
а радость без утрат, должно быть, нереальна.
Для счастья и беды нет меры никакой...

* * *

Поэзия — это не лени счастливая дочь
и вряд ли стремленье к блаженству;
поэзия — битва с тобою, костлявая ночь,
трагический зов к совершенству!

Поэзия с теми, кто в Румбуле в яму зарыт,
как тот одуванчик, как эта
сосна над бараком, что полуразрушен стонет,
и что-то в пей есть от скелета.

И как бы та хвоя весь год ни была зелена,
и как бы ни цвел одуванчик,—
их корни сквозь прах проросли, сквозь сердца,
имена,
и пестуют боль ту, и пянчат...

* * *

Как будто лак покрыл морские дали
И горы ласке солнца улыбнулись.
— Все бури миновали...
— Пусть бури миновали,—
Не стану звать их, чтоб они вернулись!

Да, молнии сверкали надо мною,
Но блеск отрадней, горы золотящий.
— Любовь становится иною...
— Пускай становится иною,—
Не все ж реветь сатиром в дикой чаще!

Сгорел дотла или остались краски,
И жар, и пыл
На глубине подспудной?
— Еще тебе остались маски...
— Сорву все маски
И сам войду в огонь последний, чудный.

ОДНАЖДЫ

Лет через двадцать или тридцать
рискину я с ближними проститься
и паконец к тебе приеду
продолжить давнюю беседу.

«Так жизнь устроена», —
замечу.
Ты выйдешь в сад ко мне навстречу
(в руках вязанье или книга?).

Супертранзистор будет дико
в окне соседнем надрываться.
По летним улицам промчатся, —
ни едких выхлопов, ни пыли, —
как тени, электромобили.

Я дом увижу двухэтажный,
его лучи позолотили,
твое высокое оконце,
совсем как в тех стихах заветных.

Через ограду будет солнце
твое лицо в лучах рассветных

ласкать, и свечи на каштане
не отцветут еще, быть может.
Мое лицо как бы в тумане
ты разглядишь — как не похожи
мы, постарев, на тех, что были.
Я выпью этот миг печальный,
как мы вино когда-то пили.

И поздороваюсь несмело.
«Я сделал так, как ты велела.
Я прожил век,
прошел полсвета,
согласно твоему условью,
по и покой, и дар — все это
ничто в сравнении с любовью».

САМОПРОВЕРКА

Что расшумелся, рифмы теребя?
Словам откуда взяться у тебя,
у латыша годов восьмидесятых
двадцатого столетья?
В нашей Риге?

Ну, хорошо, в деревне.
Но о чем?
Не о любви ль песчастной?
О ракетах?

Ну что за парень! Мыслимо ли это?

Ты храбр. Что ж не хватило на слова
У Яниса, у Петера — отваги?
О чем таком поведать можешь ты
Эфиру, на столе — листу бумаги?
Неужто знаешь больше, чем герой,
при Фермопилах жизнь свою отдавший
иль космос штурмовавший и звездой
еще одпой, чудесной, просиявший?

Быть может, ты упрям
и словеса
находишь в поздний час, когда глаза
слипаются у тех, кто поумнее?
О чем ты пишешь,
в васильки и снег
зарывшись?
Гляньте, что за ахинея!
«Я,— пишешь ты,— типичный человек..»

В МУЗЕЕ

Здесь все,
что скрывалось от глаз посторонних,
что в юмурки
играло с наукой, таясь под землей сотни лет.

«Ну что тебе нравится больше всего?» —
у дочурки
спросил шестилетней.
Она прошептала: «Скелет».

Ах, вот как!
Прости меня, предок мой тысячелетний
(с косой, с топором возлежащий на пару с мечом)
что я не подумал,
как может быть облик последний
красив наш, когда и нам воистину все иначе...

А с пами что рядом положат,
очки, авторучку?
Наверное, гайку
(не танк же, увы, не станок!).
Как я чью-то дочку боюсь напугать или впучку!
Как сделать,
чтоб страха не полз по спине холодок?

И в ящике буду стеклянном лежать, словно чурка,
под атомным солицем земным,
через тысячу лет.

«Ну что тебе, Даце, понравилось?» —
спросит дочурку
и рассеянье мать.

И ребенок ответит:
«Скелет».

* * *

Ах, не боюсь я предсказаний мрачных:
Жизнь не похожа, господи, на рай,
Но после тысяч несет неудачных
Ты мне одну, но стоящую, дай!
Воскресну, если скажешь мне: воскресни.
Пойду в огонь не дрогнув, так и знай,
Но среди тысяч мук моих мне песню
Всего одну, но стоящую, дай!
Как саблю, жизнь кую для новых ошибок,
Пусть бескорыстье хлещет через край,
Но среди тысячи моих ошибок
Одну мне песню стоящую дай!

*Поэмы
и баллады*



WILHELM
SCHMIDT
BORN 1857
DIED 1935

СТИХОТВОРЕНИЕ О БУКВАХ

Семь столетий — одпо за другим —
На кострах крестоносцев обуглены...

Мы записываем мысли свои
Не своими — латинскими — буквами.

Буквы эти — дальние, южные —
Как отблеск солица и шорох пальм,
Как гибкость лоз виноградных,
Как сложные птичьи па.

А где же изломанность слей
И лезвия острых лиший?
Латиняне — это овал арен
И вечная зелень пиний.

Сер и суров наш угрюмый край,
Зима — оголенная стужа.
Волшебною скрипкой в руках мастеров
Чужой алфавит служит.

Пусть. Но приходят на память опи —
Буквы, ставшие пеплом.

Угловатые, как отцовский дом,
Жаркие, как библейское пекло.

Буквы приходят, буквы жалуются:
— За что пас в огонь бросили?
Мы были клинками и стрелами,
Дерсвяями вашей осени.

— Я — как челнок рыбака на Даугаве.
— Я — домотканый узор Селии.
— Я — как чайка, взлетевшая с отмели.
— Я — как тень остроглавой ели.

Буквы неслышно садятся на руки,
Я слушаю повесть их, зубы стиснув,
Какие битвы, не дрогнув, выдержали
Слова и мысли.

Верные, стойкие буквы,
Воины, а не клуши.
На вас огнем,
На вас мечом,
Как на людей, обрушивались.

Сегодня в бесценных латинских амфорах
Мысли и чувства наши хранимы,
А вы, бессловесные, гордо почили
На земгалльских голых равнинах.

Спите спокойно! Вы честно пали,
И не нашлось предателей —
Вами никто не писал лжи
И гимна завоевателям.

ШЕСТИЛДЦАТЫЙ ВЕК

Юродивые, дурочки
И старушонки божии...
В средневековых улочках
Стук лбов — знать, есть прохожие.

Идешь ты весел или зол,
И вдруг — ушат помоев.
Пу, мэду получишь на камзол.
Но кто тебя отмоет?

Что ж, будь умнее, ротозей,
Коль скоро входишь в город,
Где только шустрой стрекозе
Расправить крылья впору.

И знай, когда — навстречу граф,
Давай немедля деру.
Пусть суд призпает: ты был прав,
Но ты — три дня как вздернут.

Нет, здесь недолго до беды,
И я к своей ведьмашке
На помеле, сокрыв следы,
Лечу с цветком ромашки.

Хожу за вениками в лес —
Они залог полета.
Так я сражаюсь за прогресс,
Создатель вертолета.

Сей транспорт не родил молвы,
Метла — известно, сила!
Но ведьма химию, увы,
Как говорят, любила.

Палач любил уют и кнут:
«Пожалте па допросик!»
Ведьмашку кнутиком стегнут,
Потом еще вопросик...

И вот уже костер погас,
И день последний прожит...

Быть может, песенку про нас
Досужий кто-то сложит?

КРИШ ВЕРМЕЛЕ

Стихи и песни неизвестного поэта сороковых годов XIX века Криша Вермеле. Рукопись случайно найдена на чердаке заброшенного дома.

ПЕСНИ ТОСКИ

Знаю: мои песни уничтожат.
Только согнутые головы живут,
Синева сгорбленные. Лживые уста.

Баре... Господы... Они расщели
Очень много песен на кресте.
Обломали гордым песням крылья.

Знаю: слуг всегда у бар в достатке,
Чтобы угождать, чесать им пятки
За бидон прокисшей простокваши.

Но минует время. Люди скажут:
«Неужели только песни рабства,
Шутки сальные да жалобы пустые
Были ведомы тогда поэтам?»

Знаю я, бумага эта тленна
И стихи мои не доживут: ·
После мосей смерти их сожжет
Толстая досужая соседка.

Может, ветер вырвет у огня
Хоть клочок бумаги этой ветхой,
Что кружится над моей заросшей
Повиликой и репейником могилой.

ПЕСНЯ ИВАНОВОЙ НОЧИ

Два бочонка славных пива,
Лиго, лиго!
Катят в графский сад под иву,
Лиго!

Выпей, Микус, выпей, Янис,
Лиго, лиго!
Из трудяг мы, не из пьяниц,
Лиго!

Выпил кружку — пей другую,
Лиго, лиго!
Выпил — и на боковую,
Лиго!

Бегать нам пора привыкнуть,
Лиго, лиго!
Грех через костер не прыгнуть,
Лиго!

Мы — мужчины, жить так жить.
Лиго, лиго!
Нам свой крест всю жизнь тащить.
Тер-пе...
Лиго!

ПЕСНЯ СЕЛИИ

Спрячь меня молча за пазуху,
Прими изгнаника, Селия.
Сладко мне пробуждаться
В зеленои твоей келье.

В упрямстве твоих болот
Чувствую тайный жар.
Кто тебе вырвал язык?
Кто твои руки связал?

Кто погасил в глазах
Древний мятежный блеск,
Хитростью волю взял,
Хитростью в душу влез?

За пивом да у девок
Ребята твои — мужчины.
Парит над тобой поместье
В двуглавости хищно-орлиной.

ЗАДУМЧИВАЯ ПЕСНЯ

У моря у холодного
Бродят племена.
Ненайденная родина,
Где — она?

Солица нет над пашнями,
Все дождь и дождь.
Тощи коровы наши,
И жены — тощи.

Но все же для охоты
Нет лучше мест и краин.

А отчего болота?
От слез наших!

КАК ВОЗВОДЯТ ТРОНЫ?

Вдумайся, и ты поймешь:
Просто лизнут им за грош
Руку господину.

Пошатнулся трон, но вмиг
Льстец подсунул свой язык,—

Так возводят троны.

Петер мудр не по годам:
«Не грубить же господам».

Так возводят троны.

Аидрис за барайи бок
Сам, кряхтя, под розги лег.

Так возводят троны.

«Барин спит с моей женой?
Бог с ним. Кто я? Пешка. Ноль».

Так возводят троны.

«Высек дочку,— шепчет Клав,—
Он — хозяин, значит, прав».

Так возводят троны.

Кто-то снова громко стонет,
Кто-то снова плачет.

Трон ревет.
Трон ревет.
Жертв кровавых алчет.

КАК ЛОМАЮТ ТРОНЫ

Шум и крик со всех сторон,
Трона скрип и стоны.
Трон ломают, рушат трон!

Как ломают троны?..

Янис старосте: «Ужо
Вытяну тебя вожжой!»

Так ломают троны.

Барину в глаза: «Подлец!
Скоро, скоро твой конец».

Так ломают троны.

Зло бранит корову девка:
«Распроклятая ты пемка!»

Так ломают троны.

У бабья язык отточен:
«Барин, что посевы тощешь?!»

Так ломают троны.

Люди мы. Народ. Страна.
Есть у нас свои права.

Так ломают троны.

ПЕСНЯ ЗАВСЕГДАТАЯ КОРЧМЫ

Эй, Трина, стопочку налей!
Корчмарка, водки не жалей!
Я пью — ведь я плачу.
Ты скажешь: «Хватит, может быть?»
Мне надо жизнь свою пропить,
Народ мне надо свой пропить,
Поэтому я пью.

Придут другие. Сеять, жать,
Работать, мерзнуть, голодать,
А жернов будет грохотать,
Все так же будет грохотать,
Корчмарь, пора нам подыхать,
Поэтому я пью.

МОНОЛОГ НЕМЦА

Народ здесь честен, не ленив,
Жеп любит п детей своих,
Но темен, забулдыга.

Образование подай?!
Зачем? Для немцев этот край!
Для немцев город Рига!

Подлизы — ничего народ,
О чем же спор тогда идет
В родимом Фатерланде?

Ну, чем подлиза не хорош?
Подлижет поле ни за грош
Он, а потом и дети.

Не к спеху нам. Мы — подождем.
Готово будет — мы придем.
Ну, а пока: потейте!

ПЕСНЯ ВЕРЫ

Я — дьявол во плоти. Во что мне верить?
Нет веры у меня. Конечно, нет!
Но все-таки провижу:
Грядет рассвет.

Мы будем жить, прогнав своих господ.
Так я хочу. Так хочет мой народ.
Уйдет с моей родной земли чужак.
Должно быть так. Я знаю — будет так.

И честность будет править строгий суд.
Подлиза свой язык, подобно псу,
Под трон уже не сунет для опоры.
И в первый раз за сотни долгих лет
На этой древней и седой земле
Народ вздохнет свободно. Рухнут троны.

У СИНЕЙ СОСНЫ

1

Мне исполнится скоро —
Ни много ни мало —
Тридцать,
Но я лишь сегодня заметил
Впервые,
Что сосны бывают
Синими.
Иногда голубыми
(На вырубках, где солнцу
просторно).

Большак стародавний
Меж царственных сосен
Широкой дорогой
Уводит в мир.
Я очень доволен:
Большак расширяют,
Значит — больше прохожих,
Значит — едущих больше.

Боровик на обочине,
Гуси над лесом,

Первый иней —
Осень.
И первые синие
Сосны.
Кто запретит мне
Здесь, под ними, задуматься на
минуту?

В жизни один только раз
Сосны увидишь синими.

2

— Сосна, голубая сосна,—
Ты-то хоть можешь сказать,
Кем же я стал?
«Я» — ничтожная мера,
Но нет другой у меня,
Чтобы измерить
Мир.

Вот моя жизнь во времени:
Голенастое детство
В этих лесах,
Войпа,
Мама в тоске и заботах,
Школа,
Любовь
(После первой — вторая и третья).
И работа, работа, работа.

Вот моя жизнь в пространстве:
Белая пыль прибалтийских дорог,
Зной казахстанской степи,
Крымские розы.
И ночные огни
Больших городов России.

Где-то курится тайга,
Или, может, дымок теплохода?
Голубая сосна, ты готова
Слушать мою биографию?

3

Моя биография —
Разве я этим исчерпан? —

Остальное —
Простейшая схема:
Хочу + могу = моему труду.
Утраты + приобретения = моему
становлению.

Берег Даугавы,
Там я недавно лежал,
Наблюдая за вечной рекой
И за небом не менее вечным.

Чем я стал на земле:
Тем оврагом
Или этим холмом?
Полем ржи
Или ивой над омутом?
Или этой синей сосной?

Берег Даугавы,
Я здесь лежал и думал:
«Над полями зажжется звезда
И огни в городах,
Только я в этот вечер
Одиноким останусь
И буду спокоен.

Да, я очень люблю людей,
Но когда их немного.
Когда не шумят они слишком,
Что-то во мне оставляют,
Чем-то с ними делаюсь я.
У меня есть улыбка матери,
Узловатые руки деда
И глаза отца.
Мне оставил ненависть крестоносец,
Возрожденную душу — стрелок.
Я из них вытекаю рекой.
И всегда впереди,
Далеко-далеко впереди,
Словно море,
Гудит человечество.
Люди грядущего.
Я вольюсь в них:
Улыбкой, чертами лица, и руками,
И своею тоской, и душой
возрожденной».

4

Ну скажите, кому и зачем
Нужны афоризмы
(По фупту за грошик):
Как любить,
Как страдать,
Как жить?
Мой знакомый
Горазд рассуждать:
«Все вперед, и назад ни шагу!»

Я не знаю,
Сосна моя синяя,
Вперед я иду или вспять...

Уж скорее стою на месте.
Очень твердо
И прочно стою на ногах,
Но куда-то бегут облака,
И куда-то бегут мои мысли,
И работа моя, и время.
Эти запахи, цвет и мгновение это
Могут стать вот такой же синей
сосной,

Если льет на них свет
Солнце.

Верю в спокойную силу
И в спокойные чувства.
Верю в ясность,
Хоть утро приходит загадкой.

Что мне в этих загадках?
Ведь растет и светло и спокойно
Голубая сосна.

Не могу быть бездумно веселым!
Тяжек боли кулак.

Не могу зазывать в одиночество,
Словно осеню волк,—
Мне и завтра
Придется жить.

Когда же я вижу: чернеет папоротник
И птицы тянутся в теплые страны,
Я поздно ложусь,
А встаю рано.

Здесь моя родина.

Я не бездна ее,
Не вершина.
Быть бы мне ее синей сосной!

Кроме всяких больших
И серьезнейших дел,
В мире место должно быть для леса,
Где растет боровик,
Где по осени жухнет папоротник,
Где красуется тетерев,
Розовеют рассветы,
Закаты краснеют
И пугливая серна
Грациозной головкой
Может о ствол потеряться...

Кроме всяких больших
И серьезнейших дел,
Должны в этом мире
Синие сосны,
Звонкие сосны
Расти.

Я пытаюсь опять и опять,
Но, конечно, напрасно,
Вычислить невозможное:
«Что мне прибавить,
А что отнять,
Чтобы стать
И лучше и чище...»

Нет! Довольно!
У меня есть улыбка матери,
Узловатые руки деда
И глаза отца.

Сто поколений
Воплотились во мне.
Я их новейшая выплавка.
Я обязан полвека еще
И беречь и растиль
Светлый посев рассветов.

СМЕЙСЯ, МОЯ ИВОЛГА

В 1918 году белогвардейцами
был сожжен на костре латыш-
ский революционный поэт Ав-
густ Брукленайс.

Вьется над городом грива
Дыма едкого, сивого.
А ты засыпай, дочурка,
Спи, моя иволга.

Папа уйдет ночью,
А ты его жди терпеливо,
А ты улыбайся солнцу
И смейся, моя иволга!

Тайга. И скручены руки
Руками врага трусливого.
Живи, расти, улыбайся
И смейся, моя иволга!

Ни слова, ни стона, ни крика,
Ни возгласа боязливого.
Видишь, отец улыбается...
Смейся, моя иволга!

По веткам костра смолистого
Огонь крадется стыдливо
И вдруг взвивается пламенем...
Смейся, моя иволга.

Птица срывается с ветки,
Зверь убегает пугливо...
Помни, за что мы умерли!
Смейся, моя иволга!

Помни — помни — помни:
Веления сердца строптивого —
Кровью гасить пламя...
Смейся, моя иволга!

Осталась в людской памяти
Песня его прозорливая,
Осталась тайга и осталась
Смеющаяся иволга...

БАЛЛАДА

— Разве здесь, па вольной воле,
Не работал в поле он?

— Не был, не был,— молвит поле.

— Не был,— молвит небосклон.

— Разве здесь не пел он в хоре,
Он же пел с утра, чуть свет!

— Не был, вот какое горе.

Может, был, а может, нет.

— Разве здесь, в борьбе неравной,
Он смирился, уступил?

— Не был здесь он, не был явно.
Впрочем, может быть, и был.

— В жизни он души не чаял,
Здесь стоял, в саду ночном.

— Не был, не был,— отвечают
Вместе яблоня и дом.

— Разве здесь землею черной
Не укрыт он с головой?

— Здесь он, здесь он,— молвит скорбный
Нам кладбищеский покой.

РЕКВИЕМ

Живые говорят,
что я — убит...
Неправда!
Я помню то мгновенье хорошо,
когда за мной еще другие были,
но до колючей проволоки — шаг,
а может быть, полшага оставалось.
Я сделал этот шаг.
И закричал «ура!».
И в крик тогда вложил я столько силы,
что вдруг почувствовал усталость
смертельную.
Но, падая, кричал —
я и сейчас об этом не жалею,—
кому-то надо первому идти
в атаку,
и кричать «ура»,
и падать.

Лежал я очень долго.

Двадцать лет
смертельной тяжестью своей меня
давили,

потом мои товарищи пришли
и сняли шапки,
положив меня
под дерн,
зеленый, мягкий и душистый...
И не послал никто тебе письма.
Не думал я лежать так долго.
Но мне здесь хорошо.
Отсюда видно, как солнце тщится

пояс развязать

у рек,
и небо видно голубое.
И только мысль
хоть раз тебя увидеть
мне не даст покоя.
Вспоминаю
тебя я в первый год войны,
когда
пришел проститься.
Мы шли тогда по лугу.

Ты не сердись!
Я слишком много думал
о том,
как ты жила все эти годы.
Наверное, ты женственней стала
и не смеешься ты задиристо и звонко.
лишь улыбаешься тепло.
Ну что же,
и это к лучшему.

Но переброшен
надежный мост моих воспоминаний:
я не могу забыть девичью грудь,
к которой так боялся прикоснуться.
пока сама ты не прижала руку

мою
к груди своей
и не сказала:
«Ты чувствуешь, как бьется сердце?»

А в остальном была ты холодна,
как капелька росы на стебле ржи.
Мне так хотелось взять тебя на руки
и унести,
но быстро затерялась
в траве прибрежной ты,
и лишь мелькали
в ней ноги загорелые твои.

Я верил, что вернусь,
но слишком долгим
был крик,
поднявший взвод тогда в атаку,
и вот я отдыхаю,
ибо я
устал смертельно.

После битвы
Отчизна разрешает сыновьям
немного отдохнуть.

Я жду, что ты придешь,
березы падо мпой зазеленеют,
и благодатный дождь пройдет полями,
и у тебя от радости при встрече
вдруг брызнут слезы...
И тогда, наверно,
я расскажу тебе,
как хорошо лежать
под душным пологом лугов
Отчизны.

В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ

Хотел постоять я с минуту и вспять по болоту
пусться —
Туманился Миниая горка, печальна болотная птица.

Гроза надвигается, в пебе узорные молнии рыщут,
И падают первые капли в болото и на пепелище.

И вижу бегущих, ползущих и поднятых честью
и долгом.
Тот — пулею в сердце навылет,
А этот — снарядным осколком.

Истерзанный минами сльник
Затянут удушливой мглою.
Сражение все еще длится,
Но только теперь — под землею!

Болото кипит, словно адский
Котел, под свинцовой шрапнелью.
И слышно: майор с крестоносцем
Кричат в исступлении: «Шиеллер!»

Один из них встал с автоматом,
И меч обнажен у другого.
Но кочкам бредут они рядом,
Два призрака, тени былого.

Кажется, не вынесу:
Вражеские роты
Выбегают из лесу,
Тащат пулеметы.

Дождь шумит над чащею,
Не идет на убыль.
Клюква умирающего
Поцелует в губы.

Капу в общем хоре я,
Но жива свобода
И века истории
Моего народа.

О, с очами ясными
И горячим сердцем
Мукомолы, насечники,
Пахари, умельцы.

Крестоносец корчится
В их руках могучих.
Бахрома волочится
За лиловой тучей.

Хотел постоять я с минуту
И вспять по болоту пуститься —
Туманился Минная горка,
Печальна болотная птица.

Слышу голос Ошкалиа:¹
«Мы за жизнь в ответе!
Здесь мое отчество,
Л пе в кабинете!

Здесь сегодня родина —
В пламени и стонах,
В голове простреленой,
В минах и патронах!

Загнана, замучена!
Кровь впадает в реки.
Карагарсов-предателей
Не простит вовеки.

Здесь сегодня родина
Пьет из горькой чаши,
Где на землю вывернуты
Внутренности наши.

В западне безвыходной
И смертельном риске,
В пулеметной очереди,
В автоматном диске!»

Истерзанный минами ельник
Затянут удущивой мглою.
Сражение все еще длится,
Сраженье идет под землею!

Что делать с обугленой елью,
С побитой корою древесной?

¹ Ошкалии Отомар (1904—1947) — комиссар III латышской партизанской бригады, Герой Советского Союза.

Как медленно Миппую горку
Огонь покидает железный!

Прислушаюсь к мириому дятлу,
К дремучему хвойному хору,
Гуляю по Залвскому лесу,
Брожу по Саукскому бору.

Вы молча лежите в могиле,
По солнце бы в небе померкло,
Когда бы врагу уступили,
Когда б повели себя мелко.

Я вижу, как дикие лоси
Троиниками бродят лесными.
Вчера приходил к пим и завтра
Приду побеседовать с ними.

Гремит у соседей-литовцев
Гроза, повернусь к пей спиною —
Багульник, да вереск печальный,
Да солнце вверху надо мною.

ТРИ ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОГО МАЯ

ПЕРВОЕ

Здравствуй, победа!
Вдали грохотавший всю зиму,
гром орудийный затих в этом солнечном ма...

Но и шагать еще долго, врагами хулимым,
пулям навстречу:
не стихла борьба в нашем крае.

Хвойные чащи зубчатые нас обступили.
Долго гореть еще нашим амбарам и ригам.
Выбор жесток:
до уезда — опасные мили,
и, как Париж, далека безопасная Рига.

Рушится церковь.
Наш пастырь в Вестфалии где-то
стриженых благословляет нацистских овечек.
Должно той дюжине,
должно той сотне воспетой
долго шагать долгожданной победе павстречу.

Сколько винтовок в засаде еще, автоматов,
даже станковые хлещут в упор
пулеметы.

Петр! Грапаты бери —
и вдогонку за братом!
Микеля кликини,
сегодня нам много работы.

Лесовики по соседству семью расстреляли,
женщин, детей...

За болотным Антоном кровавый
стелется след по земле.

Мы в тот раз опоздали,
но не уйдет от возмездия он и расправы.

В красные лужи
снегок залетает колючий.

В зимнюю стужу
парторгшу к саням привязали
и волокли по дороге.

Как зимние тучи —
беды несметные паши,
лихие печали.

Только печалью великой беде не поможешь.
Даже тоска — слишком слабый в несчастьях напиток,
столько друзей полегло,
столько верных товарищей ложе
смертью здесь обрели,
столько приняли горя и пыток.

Слышу сквозь треск пулеметный,
сквозь грохот разрывов —
будущей жизни беспечные вальсы и речи.

Нам той спрепи по знать,
тех веселых мотивов.
Завтрашний день,
под тебя мы подставили илечи!
Будьте здоровы!
Наверное, будет невинной
вам паша боль.
Нам же кажется — целую вечность
мы здесь сражаемся.
Тянется бой беспощадный.

Выпьем же, братцы!
За счастье!
За вашу бесинчность!

Будьте здоровы!
Глоток самогона из фляжки
сердце согрел.
О любви нашей горькой, суровой
песенку Жан сочинит.
Завтра, может быть, тяжкий
вытяну жребий.
Не свидимся.
Будьте здоровы!

ВТОРОЕ

Надо так надо.
Но в пору цветенья сирени,
о, как не хочется в теплую почву ложиться!
Слышу, готовят уроки мои сыновья.
Бродят тени
по потолку; освещает склоненные лица
лампа карбидная. Кажется, кто-то стучится?

Знаю: пришли убивать
(уж давно обещали).
Сколько записок
с угрозами
я из-под двери
вытащил!
Стук. И тяжелая брань в интервале.
Знаю: пришли убивать меня лютые звери.

Знаю: пришли,
чтобы разом опали, как листья,
дети мои,
прошлогоднею сделавшись былью.

Мысли мешаются,
жалкие, глупые мысли!
Знаю: пришли,
чтобы стали мы прахом и пылью.

Чтобы мой внук неродившийся
к вам не явился,
кубик игрушечный пряча в кармане пеловко
Нет, говорю,
я со смертью еще не смирился.
Гостя почного
трофейная встретит винтовка.

Поговори с пей,
болотный Антои, побеседуй,
прежде чем пнуть мое тело
с презрительной миной.
Было вас пяттеро,
vas не поздравят с победой.
В почь убегают
не пяттеро — два с половиной...

Что это? Надаю.
На пол валюсь глинистый,
как мой сосед, захмелевший от крепкой
настойки.

Дети, жена моя!
Надаю. О, как обидно,
больно, обидно.
Достали проклятые волки.

Слышу друзей голоса.
Прибежали на помощь.
Знаю: тону
и не выплыть из этого мрака.
Сын мой, не плачь, но мгновение это запомни.

Зпаю: тону.
Нету сил для последнего шага.

ТРЕТЬЕ

Друг мой,
из ямы песчаной
травинкой пишу полевою.
Здравствуй!
У мертвого, видишь,
еще сохранились желанья.
Ветер
так в листьях шумит по почам надо мною,
что иногда
я в груди ощущаю дыханье.

В эти минуты
не кажется непоправимой
смерть,
ничего, что полдиска в живот мне вогнали.

Встать бы и выйти,
пройтись до поселка незримо,
снова увидеть
родные покосы и дали.

Мне бы узнать,
поумнели вы или не очень,
и вообще как живете,
не слишком ли сыто
и беспечально?

Вблизи от меня, между прочим,
повеський тут объявился:
его, очевидно,
похоронили недавно,
так он уверяет,
что на земле еще глупости много
и шлака
тоже хватает.
К примеру, от Яниса прока
нету совсем: зашибает.
Где Янис — там драка.

Лодыря внуки гоняют,
а сельская лавка
плохо торгует: в ней нужного нету товара.
Слишком бумажки в почете: анкета да справка.
Жены еще потолстели: круглей самовара...

До хрипоты мы с ним спорим.
Должно быть, олени
топчутся так и дерутся,
сцепившись рогами.

Я говорю:
если счастье еще в отдаленье,

все же оно ближе, чем прежде,
и не за горами.

Мы и не ждали
кисельной реки и молочной,
жизнь непредвиденней сказки любой
и богаче.

Не для того мы во тьме погибали
полночной,
чтоб вам достались
успехи одни и удачи.

О, заблуждайтесь, любите,
нельзя без ошибок.
Разве линейкой
измеришь горячую душу?
Все-таки в яме
светло мне от ваших улыбок.
В окнах — огни,
яркий свет их струится наружу.

Друг мой, живи
да смотри на дела веселее.
Верь, никому
погибать той весной не хотелось.
Ах, как листва
шелестит неумолчно в аллее!
Облачко реет,
день ясен, и жизнь не приелась!

СОСЕД

Храпительницы тайи — дрожат в истоме
липы.

Чу, стоп совы. Луна ползет па холм,
Огромная и яркая.
Я спова, спова в детстве.
Пришли соседи, в сборе вся семья.
Сидим в саду, как сотни раз сидели
По вечерам.

Толкуют взрослые о детях, о работе.
А я все жду заветного мгновенья,
Когда сосед; небритый и лохматый,
Начнет свою затейливую повесть:
«Когда я в Риге был...»
Да, да, когда он ездил в Ригу!

Да никогда
Он, этот темполицый дед,
В той Риге не бывал.
Работал он у графов, у хозяев
При Николае, Ульманисе
И еще при ком-то.
Умеет принимать телят,
Жать рожь, косить траву,

И жеребца взнуздать,
Найти пчелиный рой.
Он многое умеет.
И многое он в жизни видел,
Но Ригу — никогда.

Однако мы сидим и ждем,
И не напрасно.
Вот он, не торопясь,
Раскуривает козью пожку
И, взглядом нас окинув,
Начинает:
«Когда я в Риге был...»

Молчите, рыболовы и охотники,
Коль паш сосед завел рассказ о Риге!
Не верим мы. Нам все давно известно,
Но, рты раскрыв, мы слушаем его
И не гоняемся за майскими жуками.

Какой «спинжак» он в Риге отхватил!
С какими дамочками он встречался в Риге!
(О боже! — думаю,— вот в этих-то портках
С одною пуговицей, с дюжиною заплаток?..)
О, в Риге он навел свои порядки!
«Селедка — и без головы? Мерзавцы!
Кто гущу из бульона слопал?
Да что я, деревенщина?! Ташите
Зажуленную кожуру картошки!»

Рассказывает он. Блестят его глаза,
Как в черном пебе звезды голубые.
А где-то рядом еж пыхтит в кустах,
Маячит тень косули у колодца.

Рассказывает он.
Теперь, зарытый в землю,
Смешавшийся с землей,
Он все еще ведет
Свой нескончаемый рассказ,
Ведет из-под земли:
«Когда я в Риге был...»

Он умер, но еще не раз
Его встречал я.
Голос был иным,
Черты лица иные,
Но все-таки бессмертен наш сосед.

Мне друг рассказывает:
«Я, когда любил...»
«Ха! Спорил из-за шелухи картофельной
И требовал селедочных голов...»

Рассказывает женщина:
«Я для него была...»
И чудится мне: в Риге
Была она, мол, в Риге,
В той самой Риге моего соседа,
Где мчит трамвай
По крышам зданий!..

Знакомый говорит:
«Когда я был правдив...»
О боже мой!
Он, право, славный парень,
Научится косить траву,
Быть может, и слесарничать,
И принимать телят,
Справляться с жеребцом —
Но вот правдив? Правдив? Не знаю, право!

Он в Риге торт едал
Из щучьих плавников
Сто раз подряд
Переплывал он Даугаву,
И, поднатужась,
Он здание высотное свалил...

А я?
Как часто я еще бываю в Риге
Таким же в точности манером,
Как мой сосед?
И старый кот впряжен в мою повозку,
И радуга дугою служит мне?
Да, да!
И наша повесть
Окончена.

И все-таки — да здравствует она,
Чудная Рига моего соседа!
Среди лесов, не повидав ее, он помер.
Лишенные правдивости, любви,
Мы умираем. И хвала сердцам,
Что до последнего мгновенья боятся
В святой уверенности:
Это было! Было!

Любовь, правдивость, Рига.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ирина

1

Зачем ты глядишь так?
У меня ничего нет,
Колокола мои гулкие
Лежат на дне.

Защиту от резкого ветра
Хочешь во мне найти?
Родная, я — просто метры
Пройденного пути.

И пусть токуют тетерки,
Журчит в ручейках вода;
В душе моей хлеб горький
Чудом пребудет всегда.

Не смотри на меня и не спрашивай,
Я сам ничего не пойму:
Дни и ночи, как зебры,
Неслись непостижимо уму.

Что делать, когда в жилах
Разжижена кровь?

Читаю свою молитву:
«Отчизна.
Свобода.
Любовь».

2

Учусь говорить заново, учусь понимать заново, например: «Дом. Это дом, сельский дом с закоптелой трубой, ему уже сотня — не меньше — лет. Там выросло четверо детей; два сына сложили головы в латышских стрелковых полках. И разве я знаю, что чувствовала их мать? Это дом...»

Учусь говорить заново: «Луг. Он порос таволгой. Дед корчевал там последние пни, а когда-то был лес, а не луг. Раньше луг заливало водой; зимою там лед сверкал, мы катались по льду. Старому Ратыню там последние зубы выбили фрицы, когда угоняли его в Даахау. Что я знаю про деда, что я знаю о старом Ратыне? Луг».

Вернуться, вернуться! — таков мой призыв; если полет необъясним кажется, вернуться к крыльям; если не понимаешь, что такое дом, разбери его, словно он сделан из кубиков, переложи в нем печь, вставь новые двери и окна, покрой его новой крышей, побели, прекрась — ты научишься строить дом, и теперь уж точно будешь знать, что такое дом...

Теплые ветры и вправду ласкают сосновый бор, и осень эта, ей-богу, щедра рябиной.

В жизни заключена сочность яблока; в наших словах о жизни — как в огурцах — слишком много воды.

Ах вот как, подайте вам рижские парки, бульвары и скверы?

Может, пушки вам еще и алмазы росы, закат на Балтике, иней, посеребривший виски, города янтарного побережья, корабли полей и пахари моря,— весь этот словесный мусор, дешевая бутафория, не утоленная в детстве тоска по ярким игрушкам?

Уважаемые, не выйдет!

Рига моя подернута дымом, Рига моя — торопливая жена рабочего, покупающая салаку; вокруг моей Риги «песчаные горы, а Рига сама — в воде», в Риге моей еще бродит призрак епископа Альберта, а у Даугавы Петр Первый мудрит над картой Европы...

Рига моя кричит в родильных домах, галдит в телефонах, тычет в тучи фабричными трубами, на кораблях уплывает в море, в лабораторных колбах поблескивает и в мастерских художников хочет найти на холсте свой портрет, честолюбивая, как женщина.

Моя Рига.

Всю ночь будет буй в заливе гудеть.
Ночью этой отнюдь не я —
Сентиментальность моя
Должна умереть.

Слова мои резки,
Остроугольны.
Хорошо, когда умирают иллюзии,
А все-таки — больно.

Мы друг для друга
Созданы.

Мы в полночь друг другом
Осознаны.

Мы одолели древние
Страхи мертвящие —
Мы ощущаем: пагиес,
Мы воистину настоящие.

Мы созданы друг для друга,
Мы сутью своей упились,
Мы в этот мир явились,
Мы родились.

А раз родились, то уж в нашу честь
Взашей гопите печаль!
Когда-то мы спова уйдем во мрак.

Л здорово здесь!
Жаль...

ПОЧТИ БАЛЛАДА

И войны проходят.
Проходят и послевоенные войны.
Ты сам, в уходящее впаянный,—
вольно? невольно? —
Уходишь. Уходят леса твоей юности
С речкой и долом.

И только стариk со старухой
Сидят па скамье перед домом.

Ходить ты учился —
Они тут все так же сидели.
Спроси их, как рухнул царизм,
Как терзала разруха.
Что их неизменней
И кто — в целом свете — седее?..
Но это не прежний стариk
И другая старуха.

Бредешь по селу,
Где тебя уж давно пе видали.
Глядишь, вспоминаешь,
И в горле прошедшее — комом.
Одних уже нет,
А других ты признал бы едва ли.

И только стариk со старухой
Сидят на скамье перед домом.

Ты помнишь, стрелок,
Как ваш след заметали метели?
Погибших сынов голоса
Достигают ли слуха?..

Они так похожи на тех,
Что всегда здесь сидели.
Но это не прежний стариk
И другая старуха.

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ

ЯНВАРЬ

Здравствуйте,
Что вы там, в Риге, с зимой учинили?
Кто виноват,
Что нет снега в деревне, не вы ли?
Вот и в колодце вода до кольца не доходит

второго.

Что будем пить?
Мы-то ладно, а бык, а корова?
(То-то наш дед, помню, ехали вместе на станцию,
Не одобрял эту, как ее, мелиорацию...)

Встретил вчера Анну Калну,
Так Анна кастрюлей
В проруби щук наловила,
Должно быть, уснули,
Плавали вверх животами к поверхности ближе.
(Все так кончают,
Кто рвется всех больше и выше.)

К нам приезжал на собрание лектор,
Начальство
Нами довольно — такое бывает не часто.

В передовых мы,
Что как-то на нас не похоже.
(Мелиораторы кое-что сделали тоже.)

Премии выдали — да продавца-паразита
Гнать надо в шею: второй уж месяц закрыта
Лавка (зачеркнуто), крупная там недостача.
Вот человек!
Вот мошенник! Не может иначе.
(Да, старый лис, наконец-то попался, мошенник.
Сколько товаров присвоил себе он и денег!)

Нынче весной
Мы хотим увеличить посевы.

Был бы здоров,
Если б старые раны не ныли.
Жизнь тянет вправо,
А смерть по почам тянет влево.

Уптиене
На днях умерла. Схоронили.
Помню ее молодою.
Будьте здоровы. (Корову пока еще доим.)

МАРТ

Доброе утро!
Вчера отелилась корова.
Красный бычок словно вишня.

Серны, как овцы,
К нам забредают.
(Епата убили большого
Позавчера.)

Что ни день — новый гость у колодца
Или крыльца.
Мы живем потихоньку.
Однако
Гайлена Фрициса божья достала десница:
Дали пятнадцать бездельнику суток за драку,
Что учинил он в райцентре, теперь пропротрезвится.

Нынче в деревне хорошую ценят работу,
Но и работы, конечно, хватает.

(Доярка
Анна недавно уснула в тарелке с компотом,
Так утомилась.)
На ферме, известно, запарка...

Нам предлагают кредит
И дают материала —
Стройтесь!
А что! Я бы дом перестроил, да силы
Стали не те. Я для этого дела, пожалуй,
Стал староват, износились и нервы, и жилы.

В Крым по путевке
Поехать бы мог подлечиться.

Только корову кто будет доить
И за домом
Кто приглядит?
Дни бегут. Жизнь, по-моему, мчится,
А не идет.
Мой поклон всем родным и знакомым.

Здравствуйте!
К нам наконец журавли прилетели.

Пел соловей в нашей роще на прошлой неделе.
Снова работаем в поле — и времени нету
Нам любоваться природой.
Хорек, между прочим,
Курицу слопал — его не притянешь к ответу.
Кажется, Петька
Пропажей весьма озабочен.

(Нужен капкан.)

Кто ученья вкусили маловато,
Тот попадает впросак:
Радиолу купили,
Ставим пластинку.
Ля-ля-тру-ля-ля — все как надо.
Только не знаем, как выключить!
Мы же не спросили!
Очень мудреное что-то в инструкциях пишут,
Не разберешь...
Так на громкости полной, покуда
Не отключилась, играла, как если б на крыше
Кто-нибудь топал; казалось, побьется посуда.
Кстати, скажите,
Пристало ли мотоциклиstu
Пить? Потому-то и врезался в старую липу
Карлис недавно, что выпил спиртного канистру.
Вдрызг мотоцикл разлетелся, а этому типу
Все нипочем: двух ногтей он лишился — и только.
(Может быть, баб
Хоть на время оставит в покое.)

Да и от шума не грех отдохнуть хоть недолго
Нашим ушам.

Объясните, что это такое:

Дни в этом грохоте диком проводят и ночи,
Мчатся бессильно, и скорость им жизни дороже.
Техника — все-таки странная вещь!

А наши заботы —
Пахота, сев. Нам бы только хорошей погоды!

ИЮЛЬ

Здравствуйте!
Ну и намаялись мы с сенокосом!
Ваше письмо задержалось —
Почтарь на обходе
Съел слишком много малины.
Нет ливням и грозам
Пынче конца. Блещут молнии на небосводе,
Гром точит зубы о наши деревья.
В хозяйстве,
Как в сватовстве,
Свой особый черед и порядок.
Олух завелся у нас в деревенском начальстве,
Жуткий любитель цветов и ухоженных грядок:
Грамоту пам за цветочки па клумбах вручили;
Галстук надели,
А после пойдем умываться!

Песен хватает теперь о цветах; заучили
Их наши девки. Певица ступает как пана,

И микрофон в кулаке у нее.
Кто напишет,
Как устаем, как мы пот рукавом вытираем?
Сам напишу.
Кстати, строим столовую, ближе
К осени кончим,— а вас на обед приглашаем.

Старый товарищ по лагерным парам немецким
Болен: инфаркт.
Да и как не случиться инфаркту?
Лагерь, побег;
По окопам, по рвам, по мертвецким
Нас протащил ураган —
Страшно глянуть на карту.
Даже не верится: с пами ли было все это?

Будьте здоровы.
Глядишь, скоро кончится лето.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ

Матери

1

Осенью этой

дождь так и льет из небесного душа.

Яблоки падают — под ноги прямо.

Осенью этой

счастье и боль разрывают мне падвое душу,
мать, мать моя, мама!

Яблоки звонкие падают под ноги прямо.

Слышится гул: то земли сотрясается тело.

Опять время яблок приспело.

(В кухне чуть слышно посуда запела.)

В вечную ссылку высокой дорогой старинной
клин полетел журавлиный.

Сотни и тысячи дней, что стоят за тобою,
вдруг обернулись судьбою.

Кто взвесит прошлое? Мерой измерит какою?

Осенью этой

взгляд у судьбы ястребиный.

...Яблоки падают — под ноги прямо...

Осенью этой
...дождь так и льет...—
нам сразиться с судьбиной,
матерь, мать моя, мама!

2

Трещина. Там, куда иду я,
трещина растет-вырастает,
ближние холмы расколола
и уже до неба достала.
Плачу ли, смеюсь ли, горюю —
болью отделенное, как далью,
вижу я лицо, слышу голос.
Небо не с того ль раскололось?

3

Годы последние многим несут
опустошенья в ближайшей родне —
будто под пулями, как на войне...
Бьют чужаки: фон Инфаркт, де Инсульт.
И — Янис Аудзейс¹, «войский» вполне...
Время, хоть самых родных сохрани.
Время, срасти нас, соедини
в цепь неразрывную. Время, покуда
есть еще время,— продли это чудо!
Но — «неотложки» визжат тормоза.
Врач, выпрямляясь, отводит глаза...
Трещина мир раздирает, грозя
все и со всем разлучить. Отлучить
все от всего.
От всего ли?

¹ Аудзейс — букв.: опухоль.

Памяти меты — как борозды в поле.
Не первый в роду, не последний в роду,
той бороздою глубокой бреду.
Песни, пророчества — не о нас ли?
О нас.
Мы были,
мы есть,
мы не угасли,
и я потому не угас.
На этой дороге,
на огненной этой стезе
были и радости, сотнями красок блестали.
Радости — разнятся. Горе — похоже везде.
яркие краски ему не пристали.
Боль всегда похожа на боль,
как кровь на кровь
и как соль на соль.

4

Из небытия ты вынесла меня,
за руку в жизнь ввела, сама-то держась
то ль за полевого лютика цветок,
то ль за теплый рог буренки своей.
Ощупью — вдоль старых господских садов,
бомбовых воронок, людской молвы,
вдоль заборов лагерных, вдоль грохота саног,
грузных, армейских, с подковами...
Время, сбереги! Время, сохрани!
Кротко,
опираясь на споп ржапой,
на беремя сена, на куль ботвы,—
с каждым годом все меньше и суще —
стоишь,
смотришь, на прощание машешь рукой.

Города и веси мотают меня,
пропопусь сквозь дали
веков и судеб.

Ты стоишь
на фоне неба и линий
старых, на бессменном,
на вечном посту.

5

Вижу мать уходящей
под небом высоким
бесконечным июньским проселком.

Голова так бела...
как простое рабочее платье.

Жизнь меняется исподволь.

Все труднеее понять ей,
для чего ухожу и куда; что такое
гонит из дома, не дает мне покоя.

Вижу мать уходящей
под небом высоким
бесконечным июньским проселком.

6

Расскажу ли,
как рожь и ячмень
зеленеют вовслед,
оживают поля
и волнуются, слыша твой голос?
Это — путь бесконечный,
где смешаны тени и свет,
это путь человеческий,
горе и гордость.

Расскажу ли,

как жизнь окружает тебя,
как привыкло к тебе
все живое лепиться,
как домой возвращаются
вечером с пастбищ стада,
подлетают к тебе
безбоязненно птицы?

Льнут котята и ластятся;

жеребята, телки,—
все, кого ты кормила, поила, растила.
...Ель качнулась в бору.

Теплым ветром дохнуло с реки...

Сколько сердце твое вобрало и вместило!

И дорогою жизни,

той долгой дорогой крутой,
люди, люди идут — старики и старушки, ребята.
Партизны шагают своей осторожной тропой,
и за пазухой — хлеб,
что для них испекла ты.

(Те, что живы. И те, что в песках
и в немых, точно вечность, болотах
оставлены смертью.)

И в бараках Саласпилса,

и в лагерях отдаленных —
спасеньем был твой узелочек со спедью...

Это было! —

и я ничего не могу изменить!

Вот садится за стол

погорельцев семья из-под Пскова...

Здесь высоких словес не слыхать.

Но сама за себя говорит

высота пониманья, доверья людского.

Здесь латыш, россиянин, литовец, еврей,—

кто как мог,

ради жен и детей, стариков своих

встали
грудью,— и поколений своих кровоток
сообща
от погибели верной спасали.

На стезе этой огненной —
ах, на дороге людской! —
были радости...
Что ж, были радости тоже,
столь несхожие, разные, кажется, сколь
боль одна на другую похожа.
Боль всегда похожа на боль,
как кровь на кровь
и как соль на соль.

7

Мать,
может,
лучшее в нас — мечта,
если любовь
придает ей силу...
...Я к могилам иным прийти не могу,
я не знаю доселе,
где эти могилы.
В какой степи, под какой волной
двоюродный брат мой, дядька родной?
Наш род шел суровым, горьким путем,
и долгая ночь над ним нависала,
и многие падали, первым огнем
сраженные; но никогда не бывало,
чтоб первым бы кто-то бежал со всех ног
награды делить или сладкий кусок.

Сквозь полночь, сквозь полночь мчится
машина с красным крестом.
Мать! Сколько тонн в этой жизни,
что люди нередко крестом
своим называют?
...В больнице
ты мечешься, жаром объята.
Нам страшно. А ты? Боишься ли
бегущего с кровью яда?
Может, все пуры ржи,
что на плечах спесла ты,
все горы трав, все стога...
всё горе и все утраты —
все вместе, как тяжкий груз,
ломает душу и тело?
«...На этом... берегу...
остаться б хотела...»
Через бред твой бредут,
паверно,
все метели?
все взвывы ветра?

Видишь ли слова дом окруженным?
Режет ли холод давних угроз?
(«Вы... вы... этих красных жены!..»)
Или послевоенный колхоз,
трудные дни, трудодень грошовый.
И — где-нибудь в лавке — шелест молвы,
в спину, как пуля, пущеный шепот:
«Что боягу разводите вы,
вы, сочувствующие тем самым...»
Теперь-то насмешники полный рот
себе набивают; притом бывает,
что пенсия им посолидней идет...

Бредешь ли, мама, проржавевшим краем
этих болот? И быть может, они
сладить с сегодняшней болью мешают?
Время, сбереги! Время, сохрани!
Иной на словах жизнь новую славит,
в любви распинаясь (язык — без костей!).
Вы ради любви этой
рисковали
себою, близкими,
жизнью детей.

9

Осенью этой
дождь так и льст из небесного душа.
Яблоки падают — под ноги прямо.
Осенью этой
счастье и боль разрывают мне надвое душу,
мать, мать моя, мама!
Вижу мать уходящей
под небом высоким
пожелтевшим сентябрьским проселком.
С нею дочки мои.
Ветер в лица им веет.
Ясный свет источают леса.
Как мне хочется верить,
что путь этот — путь без конца!

ПОД АВГУСТОВСКИМ НЕБОМ

Памяти отца

Картина,
которую я — буду жив — не забуду:
небо августа
в облаках кучевых
пад мерцанием
Залвите, Сусеи, Мемеле¹,
зелень леса и пыль большаков,
вой машины спешащей
и — мы, что везем
домовину тебе,
дом последний
и вечный.

Нет, я все-таки не сознавал,
до чего мы близки.

Мы: отцы-сыновья.
Как мы сцеплены,
связаны мёртво, железно
родом-племенем,
кровью,
временем.

¹ Названия речек в Латвии.

Человек в смерть уходит
словно в вечную ссылку —
безвозвратно.

Пылят большаки.

В пебо августа глядя,
все ясней, все больней
ощущаю:
жизни нет и не нужно
без страстей, заблуждений,
без жажды.

Ты, отец, не нуждался
в грехов отпущене.
Не тебе у кого-то просить —
а тебя бы
просить о прощенье...

*

Чую,
почему слезы слышатся
в песне народной.

Ранят мелочи,
в память запозой войдя.

Вижу путь твой, отец:
зори первые,
годы взрослесь;
край, соседний с Литвой;
вижу Латвию,
вижу твой век.

Человек —
часть огня бесконечного,
что горит в небесах, заставляя
реки течь,
а дома — вырастать
у излучин речных...
пролагая дороги земные.

XX век. В его начале
вы новобранцами стояли.
И, как фельдфебель полоумный
или погромщик с перепою,
вдоль ряда маленьких, нагих
шагает век. Новорожденным
он твердым пальцем тычет
в грудь:
— Кто?

Вызывайтесь, кто охотник:
туда, где косит скарлатина
младенцев, каждого второго,
туда, где вечную мечту
батрацкую о толике земли
драгуны залпом расстреляют,
казаки плетками добывают?

Но поднимаются нагие
и слабые:
— Я! Я пойду!
— И я.
— Я тоже.

Я вижу: с ними ты, отец.

Век сплевывает ядовито.

Век стеком бьет по голенищу.

— Куда ты, дурень, несмышеный?

Ишь, как глазища разгорелись.

Уж не пойдешь ли за стрелками?

Я подскажу: лишь единицы
из сотен выживут,

и тех
пустыни ждут, тайга и тундра...
Так кто тут смелый — им вдогонку?

И поднимаются нагие

и слабые:

— Я! Я пойду!

— И я.

— Я тоже.

И вижу: с ними ты, отец.

— Теперь: который —
отвечайте, как перед богом,—
бунтовать

решит в латвийском государстве?

После пятнадцатого мая¹

кто пострадать готов,

кого

не испугаешь каталажкой?

И безоружные выходят

и слабые:

— Я! Я пойду!

— И я!

И рядом ты встаешь, отец.

— И вам, потомки мужиков
баронских, вам не страшно будет?
Ха-ха-ха!..

Ну, хорошо. А дети, жены?

А старики? Кто их накормит?

Кто приютит? Кто даст работу?

— Да, так. Мы над собой не властны.

Нас что-то гонит... Та же сила,

что бушевала в Пятом году,

что в смертный путь вела стрелков.

¹ В ночь с 15 на 16 мая 1934 г. в Латвии был произведен переворот, приведший к профашистскому режиму К. Ульманиса.

И век,
 большой специалист по душегубкам,
 а также всшать мастер,
 виртуоз
 по части мелких выстрелов в затылок,
 проклятье изрыгнув, заметил:
 — Нет, я еще не все сказал.
 Кто вызовется, кто пойдет,
 когда
 чуть не во всей Европе власть
 захватит фюрер бесповатый?
 И вновь ему в ответ: пойдем!
 И голос твой
 я слышу там, отец.
 — И перед дулом грозным не попросишь
 пощады?
 — Нет, не попрошу.
 — Так зпай: вернешься из концлагерей,
 и будет тебе только сорок три,
 а выглядеть ты будешь стариком,
 все зубы потеряв... Идешь?
 — Иду.
 — Учи: не будет лавровых венков.
 Еще годами твой удел — быть там,
 где трудно. А к концу, представь себе,
 окажется, ты справок не собрал
 для пенсии...
 — Что делать? На войне,
 в года разрухи то ль еще терял...

И этот век —
 фельдфебель полоумный,
 угрюмый черносотенец и спец
 по душегубкам, смерти лагерям,
 работорговец наисовременный,

еще раз ядовито сплюнув, молвит:

— Ну, значит, тронутый —
такая их порода.

Пускай его идет, пусть смерти ищет.

Другие вволю жизнью насладятся,
добром обзаведутся. А таким,

как этот,—

о, как волосы им рвать
придется на себе
с досады лютой!..

*

Нет, ни в конце и ни перед концом
ты волосы не рвал с досады. Не был
ты ни смешон, ни робок, и чума
стяжательства к тебе не прилипала.

А все твое имущество —

леса

да реки,
да родные небеса,
в которых башни и верхушки елей
и — верно, пегасимые — огни.

А все твое добро —

под коркой книг
хранилось там, где времена
минувшие, и люди, и раздумья.
Кто был другим имуществом богат,
тот слушал — и не мог тебя рассышать.

Твоим добром

была вся эта жизнь
со всеми заблуждениями, страстями
и с жаждой; жизнь,
где человек —
часть вечного огия...

Простились с матерью.
Теперь и ты ушел,
под августовским небом.

В одних огонь угас, чтобы в других
назавтра с новой силой возродиться.

Но что-то важное уйдет навеки с вами...
И я могу представить, что бы Петр
святой тебе сказал,
когда б па небе
тебя встречал он.

- Ты почитал ли в жизни жизнь живую?
- Да.
- Свободу защищал, собой рискуя?
- Да.
- Грешил ты в меру, хоть бы и не меря?
- Да.
- В себе ты не давал пробиться зверю?
- Да.

Не знаю, куда тебя впустят,
что ждет там: запущенный сад?
Чистилище? Или, как в Берги,
какой-нибудь пансионат?

Но только, отец, там покоя не будет тебе.
Ты сам же его и порушишь,
и громом с небес пророкочет
твой голос сердитый; кого
коснется твой праведный гнев?
Об этом есть время подумать.

Спасибо вам
за вашу жизнь, отцы.
Когда б не вы — бараки и могилы

расстрелянных остались бы главнейшей
приметою XX-го столетья.

— В той жути
кто б выстоял один?
— Нет, ни один,
когда б он был один.

Под небом августа,
под небом расставанья
я тихо говорю:
— Отец, прости!

БАЛЛАДА О ЛИВСКОЙ ПЕСНЕ

Век — это значит: года и года...
Но век — он тоже не вечен.
Песен не пела она никогда
В кругу приумолкших женщин.

На праздник последней являлась она,
Первой его покиная.
Строго сидела одна у окна,
Безмолвная и седая.

Что было скрыто в краешках губ:
Улыбка? А может, досада? —
Когда до часу, а то и до двух
Пели юнцы надсадно.

Годы идут. Догорает свеча.
Что живо в душе боязливой?
И вдруг чужак затянул невзначай
Старинную песню ливов.

О чудо! Внезапно запела она,
Ей песня морщины расправила,
Как будто царице приснилась страха,
Которой во сне она правила.

Там волны вздымались и таяли,
Там морем кончалось поле,
Там кузнецы грохотали,
В городе Метсеполе.

А дочка наивно и честно
Слушала, не понимая,
Что это последняя песня
Отцовского древнего края.

Песня плыла над садами,
Как дуновение вздоха,
В песне жила, страдала
Умершая эпоха,

Ведь затерялся в народе парод —
Он был беззащитен и мал,
Он верил: к потомкам его перейдет
Песня — как талисман.

Немало песен на свете есть,
О чем же грустить? О чем?..
Новая песня не смеет сесть
Птицею на плечо...

Иела вдова, и катилась слеза.
Медленно и бесстрастно.
В старческих, тусклых ее глазах
Ливская песня гасла.

Слышался в песне немой упрек.
Вдовьи глаза тосковали.
Песня уходит, и, видит бог,
Много мы с ней потеряли.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ В КАУНАСЕ

1

Сполохи земли и неба!
Так и должно быть: гроза!
Гроза над дубовой рощей,
Глушащая голоса,
Те, что пробоятся ростками,
Как только гром отгрохочет,
Те, что как дети рождаются
На освеженной земле.

2

Видишь, пахарь,
Старый пахарь
Вдруг пустился в пляс.
Мы приходим,
Мы уходим,
Наша радость
Плещет в нас.

Слышишь,
Голоса девичьи
Красно солнышко зовут.

Эти девушки когда-то
И мечты свои и радость
В жизни новые вольют.
Кличут солнце,
Кличут солнце,
Разгоняют клочья тьмы,
Быть им сестрами планеты,
Солнца гордыми детьми.

3

Рог гудит. Поет валторна.
Люди в пляске стали смерчем,
А людьми они повторно
Станут завтра вечером.
Разве мы поем? Нет, нет.
Разве мы танцуем?
Мы, как пчелы, к тем лугам
Путь вам указуем.

Пропоем сегодня мы
Жизнь свою до конца,
Пропоем — от колыбели
До могильной ивы.
Мы сегодня протанцуем,
Мы сегодня протанцуем
Все, чем люди живы.

4

Мы — зерна, этой судьбы не дано нам бежать.
Мы — дети земли, и в земле нам придется лежать.
В немом упоении
Земля принимает дары.
В сколосятся хлеба.
Ростки прорастут.

И пас па мгновение переживут.
Всего на мгновение.

5

Плуг погребает меня в земле. Боль.
Росток разрывает па части мепя. Боль.
Колос меня иссушаст. Боль.

Горькая боль.
Сладкая боль.
А разве не все равно?

Что такая жизнь дает,
Если боль тебя не жжет?
Так и камень проживет!

Что такая жизнь дает?
Ничего...

6

Удел зерна.
Удел зерна.
Для нас он всегда высок!
Удел зерна в земле,
Удел его в птичьем клюве.
Для меня он всегда высок!
Что ниже земли? — А я земля,
Но эта нижайшая, эта земля
Превыше всего на свете;
Есть в глухих подземельях земли —
Плодоносящее чрево,
В ее прохладе, в зное и мгле —
Плодоносящее чрево.

И поют они, танцуют.
Затупился дождик острый.
И уходят мои братья,
И уходят сестры.

И уходят. И уходят,
К далям устремленные,
Синим светом вечных молний
Ярко озаренные.

АНТРАКТ В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

Автобусы издалека — к театрам
Сбегаются, как сельские дворняги.

В антракте Анна Целма заявляет
Односельчанам робким: «Вот где страсти!
Вот где наряды! (Петер, не сморкайся!)
Поистине, увидишь только здесь,
Какими должно быть — душой и телом.
Куда уж нам, конечно, с тракторами,
С буренками, комбикормами, где уж».

Тут Петер замечает: «Балерины
Худые больно — шпека не едят,
Бедняжки».

«Как же, шнека,— это Анна
Его перебивает гневно.— Шпека!
Домой вернемся — будет шпек тебе!
Певицы, чтоб ты знал, сырье яйца
Пьют — оттого и трели так звучат».

«Выходит, что без нас не обойтись им,
Ни трелей, ни рулад не выводили б».

«От глупенький! Ты яйца, что ль, несешь?
Их, балерин, десятка два, быть может,
В республике — и все поперечет.
А Петров хватает, слава богу».

Вступает в разговор директор клуба:
«Любезные односельчане, полон
Мир образов; повсюду остается
Все тем же человеком человек.
И Ян, когда с овцы сдирает шкуру,
Как этот... Одиссей, что золотое
Сташил руно... Или Язон? Не важно.
А Криш, когда, для храбрости хлебнув,
Свою душил в сарае Дездемону,
Иль он не доморощенный Отелло?
Где это все, родные,— в Риме, Риге
Происходило? Тут, у наших сябров!
Голубчики, я на своей работе
Культурно-просветительной, как Дон
Кихот, сражаюсь с мельницами!..»

«Хватит!
Уймись,— его перебивает Даце.—
Ведь Дон Кихот для клубных музыкантов
Не стал бы собирать на вышивон».

«Ну, Даце, этот случай нетипичен...»

«Еще бы нетипичен! Что за типы
В оркестре у тебя, начальник клуба!
Нет, хватит, насмотрелась пьес да опер.
Вот я такую песню затяну,
Что вы еще подскочите в постелях!»

«И все ж,— вставляет вице-председатель,—
Искусство помогает нашим людям
Поднять производительность труда».

«Ты как по книге, Волдис... (Это Петер,
уже знакомый нам.) Сказать по правде,
Мне после этих рижских выкрутасов
Девчонки снятся стройные...»

«Ах так!

Ах вот как! — восклицает Анна, белый
Достав платочек скомканный.— Искусство
Легко опошлить — именно об этом
Шла речь по телевизору вчера».

«Товарищи,— не умолкает Петер,—
А все-таки, сказать по правде, тошно:
Проходит жизнь. Проходит жизнь! Проходит.
Помрешь — и вспомнить нечего. Ну, сено
Косил, ну, миловался со своей
Женой законной. (Анна, не пихайся!)
А мне людей веселых вереница
Мерещится, танцующих, поющих,
Меня влекущих (Анна, успокойся!)
Куда-то вдаль. Хочу я знать: на свете
От Петера был толк какой-нибудь?»

«Три сына,— молвит Анна.— Если б меньше
Любил искусство, было бы их больше».
«Любезные односельчане,— клуба

Директор заявляет,— неудобно
Так прямо толковать искусство...»
Волдис

Сказать: «Производительность труда...» —
Пытается, но фразу заглушает
Звонок. Фойе пустеет. Акт второй.

МАЛЕНЬКАЯ ПОЭМА О ЛИШНИХ ЭМОЦИЯХ

— Сердце болит.

Сердце болит у меня...

— Нет уж, давай-ка без лишних эмоций,—
голос откуда-то вдруг раздается
средь бела дня.

Из-за гардин
встерь влетает как будто случайно.

Я не один,—
с теми, кто умер, беседую тайно.

Их голоса как живые звучат!
О, неужели дороги назад
не отыскать им?

— О чем ты вздохнула,
мама? О чем ты задумалась вдруг?
Брат мой, как ветром с земли тебя сдуло!
Ояр, ты поторопился, мой друг!
С шелестом все вы исчезли печальным.

Знать, к перегрузкам эмоциональным
мне не привыкнуть,
тоски не унять,
цель временная распалась опять!

Кузницы помошь земной ли, небесной,
как ты нужна мне!
Повисла над бездной
жизнь. Мои дни вроде тающих льдин.
Я одинок — и останусь один?

*

Звать ни к чему
и надеяться — дико.
Что ж мое сердце так громко стучит:
— Ну же, судьба моя, темная книга,
смысл твой не весь еще взору открыт!

Кто, облака или милые тени,
мне говорит,
что, как мост, как ступени,
правда и верность ведут нас с земли
к радуге, в солнечном небе горящей?
Вот она вспыхнула, блещет вдали.
Лишь человечность — залог настоящей
жизни, горящий в руке лепесток —
символ надежды, любви уголек...

Вновь этот голос,
как будто из мрака:
— Сколько же лишних эмоций, одпако!

Чей он, бессовестный голос глухой?
Словно ворона па ветви сухой
каркает.
Как ему все же пеймется!
Кто бы мы были без лишних эмоций?
Лишние!
Что это значит, ответь?

Можно ль
не жить,
не страдать,
не гореть?
Сердце, боли,
только так на свободу
вырвешься,
птицу видать по полету.

*

Все же надеюсь,
что нужен кому-то.
То не каприз
и не блажь,
не причуда.
О, не себе!
Для себя ли дано
тело мне,
сердце
и сильные руки?
Я не с собой,
а с людьми — заодно.
Боли им мало своей
или муки?
Я не хотел бы
на плечи чужие
переложить
свои мысли ночные.
Или они предо мною в долгую?
Или я справиться сам не могу?
Нет, дорогие!
Темны эти чащи,
эти леса,
безутешная ночь.

Филины стонут
и стаи рычащих
хищников бродят.

Ни сына, ни дочь
не отпускай в эти дебри.
Постарше
станут — тогда без тебя как-нибудь
сами отправятся,
двинутся дальше,
трудный продолжат таинственный путь.

Ветер, явив несговорчивый поров,
буен и свеж па закатной поре.

Страшно: мне кажется,
будто я допор,
кровь отдающий
закатной заре,
чтобы, па радость вечерней природе,
ярче горела бы, чем па восходе.

*

Можно, конечно, в свое эльдорадо
съехать; наверное, лифт скоростной
есть для довольных собой, но досада
самодовольства честней.

По крутой
горной тропе продвигаться достойней,
через завалы и тернии — ввысь,
к счастью — во тьме,
спотыкаясь о корни.
Падай,
упорствуй
и слез не стыдись.
О, не бессмыслины слезы!

Промыты
ими глаза.

С бытия не они ль
слой позолоты сухой, парочитый
смыв,
обнажают пам
правду и быль?

Сколькоих не стало любимых и близких!
Мне ль пробираться

по льготной записке,
мне ль послаблений просить у судьбы,
чтобы не сбросила,
встав на дыбы?!

Нет, разумеется.

Те, кто на смену
нам
незаметно выходят на сцепу,—
лучше ль, по знаю,
но юность дана
ним не напрасно: бесстрашна она!

*

Сердце мое, содрогаясь от муки,
так же, как ваше, на полном ходу
вдруг остановится.

Вечной разлуки
не избежать. Я, как вы, упаду.
Знаю: не выдержу.
Выдержать это
не удавалось еще никому.

Что ж, продрожать
из-за смертного бреда,
двух-трех мгновений,
сводящих во тьму?
Нет.

Мне и жаль только то, что зовется
в нас этим словом старинным —
душа.

Все остальное
мерцает и бьется
вроде листочка,
на ветви шурша.
Вроде ростка, вроде камня.
Не надо
смерти бояться губам и глазам.
Смерть не грозит им...

Из тлена и смрада
новым удастся пробиться росткам.
Что ж мы страдаем тогда? Непонятно.
Что в нас страдает?
Глаза? — Но они
блещут так ярко!
И мозг многократно
мир отражает, и всчи, и дни.
Сердце?
В котором и счастье, и муки,
как мы считаем, незримо живут?
Но помогают в беде и недуге
сердцу таблетки,
при чем они тут?
Значит, душа?
Да и как же иначе
определить то, что любит и плачет
в нас, переносит тоску и мечту
с берега дикого — на высоту.
О, как бессмертна она, человечна,
страх и надежда в ней борются вечно.

Что ж она, собственность наша, скажи?
Можно ли нам
красотою души
так любоваться, с таким самомнением,
словно зеркальным своим отраженьем?
Вечно прощаться нам
с жизнью земной,
телом, дыханьем
и страстью живой.
Наша дорога —
стремнина, теченье.
Значит, душа —
наша ноша, мученье?
Значит, тебе ее все-таки жаль,
тяжесть земную, любовь и печаль?

Так мы идем.
Нами движет желанье
все раздарить, все отдать — па прощанье.
О, ничего не оставить себе!
Большего счастья не мыслим в судьбе.
Всё, до конца!
Что за пыл, лихорадка!
Да, и сердца,
весь их жар, без остатка.

БАЛЛАДА О ВЕЧНОМ СТАРИКЕ

О наказанье, пылкий летний зной!
Иди к реке, прямым лучом налимый.
Июль зеленый вянет — жар такой
Невыносимый!

Когда живое прячется в тени
И неподвижен рыбы сон глубокий,
Старик подходит к берегу — взгляни —
И, замерев, стоит на солнцепеке.

С лугов последний с сеном едет воз.
Светло в полях, ржаным зерном прощахших.
Старик стоит — и сколько собралось
Вокруг него исчезнувших, пропавших!

Умерших, павших, канувших во тьму,
Истаявших в страданиях и бедах,
Всех, кто здесь жил и дорог был ему,
Прославленных и славой не задетых.

Отец бредет от барского двора,
Вздыхая: «Вот и лето пролетело!»
С трубой братишка,— как его игра
Смешит людей,— играет то и дело.

Соседки собирают сено в стог,
И слышен стук тяжелой молотилки.
А вот и сам он, молод и высок,
Пьет пиво, ладит что-то из досок,
Идет по гати почью до развилки.

Там колесница движется войны,
Гуляет серп безжалостный и страшный,
Там шмель гудит, там на руках жены
Ребенок спит, там песенки слышны
Синички, гром грохочет там протяжный.

«Сверкает солнце в небе надо мной,
На берегу сквозят родные тени.
Куда ушли все? Знаю, в край иной,
За холм, где ночь встречается с зарей!
А я стоять оставлен в отдаленье.

Не отменить прощаний тех, разлук!
Кто я? Зачем огнем пылал сердечным?
Быть может, вечен я, как этот луг,
Как этот зной, похожий на недуг,
И стариком вовек пребуду вечным!»

С лугов последний с сеном едет воз,
Полей ржаное мерно колыханье.
Идет старик — и жаль его до слез,
Идет один, как скорбное рыданье.

Л в горнице на белой простыне,
Как на снегу, лежит его старуха,
Навек затихнув,— с ней наедине
Ему осталось не хватило духа.

В его глазах и ярким днем темно,
Бредет он тихо, словно привиденье,
Ведь сердце было на двоих — одно,
И нет в его груди сердцебиенья.

СОДЕРЖАНИЕ

Немного о себе и своей работе	3
 <i>Стихотворения</i>	
«Десятая мелодия» (1973)	
Я пришел из лугов. <i>Перевод В. Андреева</i>	11
Песня о Селии. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	15
Немного о далях. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	16
«Режет мать ржаной каравай...» <i>Перевод Л. Ждановой</i>	17
В болоте. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	19
Сорокалетние. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	21
Земля, твой поцелуй и красный огонь в печи. <i>Перевод В. Андреева</i>	23
«Бывает так...» <i>Перевод В. Андреева</i>	25
Когда я тебя люблю. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	27
Ночь перед странным юбилеем. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	28
Нечто о любви. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	29
Маленький человек постигает язык. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	31
В вечер Лиго. <i>Перевод В. Андреева</i>	33

Тридцать третье лето. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Трактат о бессмертии. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Сквозь запах яблок. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Утилитарное стихотворение. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
«За окном всю ночь...» <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Хемингуэй в ноябрьскую ночь. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	...
Последний день Криша из Крастов. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Листы. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
После почных заморозков. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Пора желтизны. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
«Ждет любовь меня...» <i>Перевод В. Андреева</i>	...
«Хочу, чтоб были...» <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Старые ливы с Малого мыса. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Поездка в Видземе. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Конфеты, печенье, серебряные бумажки. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
«Теперь уж близок горный перевал...» <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Прощанье. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Стрижи. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
«Под бурей деревья...» <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Путь огня. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Песнь о Злекас. <i>Перевод В. Андреева</i>	...
Перелетные птицы. <i>Перевод Л. Ждановой</i>	...

«Отзвук горна» (1981)

Ночные стихи. <i>Перевод А. Кушнера</i>	...
«Отложи все заботы...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	...
Новая весна. <i>Перевод А. Кушнера</i>	...
«Уже набухли почки на ветвях...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	...
Ты уже не увидишь. <i>Перевод Л. Романенко</i>	...

«Один стал ясенем...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	79
На концерте Будапештской гимназии имени Ати- лы Йожефа. <i>Перевод А. Кушнера</i>	81
Сквозь заботы. <i>Перевод А. Кушнера</i>	83
Омыты. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	85
«Впопь липа мед июльский источает...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	87
Не паглядеться! <i>Перевод Р. Добровенского</i>	88
«То, что теперь...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	90
«Среди гор, в краю далеком...» <i>Перевод П. Ве- гина</i>	92
«В стороне родной...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	93
Источники крови. <i>Перевод А. Кушнера</i>	95
Стрелок и черемуха. <i>Перевод Л. Романенко</i>	97
Арбузный мед. <i>Перевод Л. Романенко</i>	99
Над выжженным лугом. <i>Перевод Л. Романенко</i>	101
Старики. <i>Перевод Л. Романенко</i>	103
Я жил. <i>Перевод А. Кушнера</i>	105
«Мне кажется...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	107
Полпути. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	109
«Правдив твой мир и прекрасен...» <i>Перевод Л. Ро- маненко</i>	110
«Слишком мало мне в городе неба...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	111
«Когда закат заденет крышу...» <i>Перевод А. Куш- нера</i>	112
«Эй, цыган, ты сыграй...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	114
Правда о нас. <i>Перевод А. Кушнера</i>	116
«Для любви подходят, например...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	118
Песенка про глупую девочку. <i>Перевод А. Куш- нера</i>	119
Любовь, летающие тарелки и др. явления. <i>Не- ревод А. Кушнера</i>	121
«Неродившиеся дети...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	123

«Как я ждал такого мая!..» <i>Перевод Л. Романенко</i>	124
«Бог мой, давно ж я не смеялся...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	126
О напряжении. <i>Перевод А. Кушнера</i>	127
«Для чего тебе щепки...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	129
Еще раз о ветряной мельнице. <i>Перевод А. Кушнера</i>	130
Заявка на стихотворение. <i>Перевод А. Кушнера</i>	132
Проверка тишиной. <i>Перевод Л. Романенко</i>	134
Душа. <i>Перевод Л. Романенко</i>	136
Маска. <i>Перевод А. Кушнера</i>	138
Не меньше половины. <i>Перевод А. Кушнера</i>	140
«Ах, разве виновата музыка...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	141
Прощальные слова Валде. <i>Перевод П. Вегина</i>	142
Телефон. <i>Перевод А. Кушнера</i>	144
Несерьезное стихотворение. <i>Перевод А. Кушнера</i>	146
«Кто выдумал...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	148
«Малинник, ежевичник, можжевельник...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	149
Разговор с лирическим героем. <i>Перевод А. Кушнера</i>	150
«Всю жизнь ищу...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	152

Стихи разных лет

* Райнис в Майори... <i>Перевод Р. Добровенского</i>	153
* «Землю, словно святое писанье...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	155
* «Пожалуй, теперь уж и я не сержусь...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	156
* «Строят гнезда...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	158
* Интермедиа. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	159

* Осенний ветер. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	161
* Молитва поэта Юриса Раманиса на исходе XVIII столетия. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	162
* «Не только то, что есть...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	164
* «Думать о них...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	165
* «День этот...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	167
* «А лишние надежды брось...» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	168
* Зима поет. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	169
* Куртка. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	171
* Мгновение у речки Мемеле. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	173
* Из цикла «Переселение душ, или Америка, Америка» <i>Перевод Р. Добровенского</i>	174
Переселение душ	174
Прогулка в Голливуде	176
Субъективные размышления на бульваре Сансет	179
* Отечество. <i>Перевод Л. Романенко</i>	181
* «Стать бы снова молодыми...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	183
* Поздняя дочка. <i>Перевод Л. Романенко</i>	185
* Тоска по сыну. <i>Перевод Л. Романенко</i>	187
* Молодые сосны. <i>Перевод Л. Романенко</i>	189
* Романс. <i>Перевод Л. Романенко</i>	191
* Матери. <i>Перевод Л. Романенко</i>	193
* «Здесь родились мы...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	195
* «Взглядом чистым...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	197
* «Хочу туда, где сосны сини...» <i>Перевод Л. Романенко</i>	198
* «Проезжая мимо...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	199
* На краю света. <i>Перевод А. Кушнера</i>	201
* «Одно лишь ласковое слово...» <i>Перевод А. Кушнера</i>	203

- * Простая песенка. *Перевод А. Кушнера*
- * Песня о красных вишнях. *Перевод Л. Ждановой*
- * «Нам жить, не знать беды...» *Перевод Р. Добровенского*
- * «Счастье, может быть, и есть уменье...» *Перевод А. Кушнера*
- * Рудольф Блауманис. *Перевод А. Кушнера*
- * 24 декабря 1982 года. *Перевод А. Кушнера*
- * О хуле. *Перевод А. Кушнера*
- * «Поэзия — это не лени счастливая дочь...» *Перевод А. Кушнера*
- * «Как будто лак покрыл морские дали...» *Перевод А. Кушнера*
- * Однажды. *Перевод А. Кушнера*
- * Самопроверка. *Перевод А. Кушнера*
- * В музее. *Перевод А. Кушнера*
- * «Ах, не боюсь я предсказаний мрачных...» *Перевод А. Кушнера*

Поэмы и баллады

- Стихотворение о буквах. *Перевод В. Андреева*
- Шестнадцатый век. *Перевод В. Андреева*
- Криш Вермеле. *Перевод Л. Ждановой*
- У синей сосны. *Перевод В. Андреева*
- Смейся, моя иволга. *Перевод Л. Ждановой*
- Баллада. *Перевод А. Кушнера*
- Реквием. *Перевод Л. Ждановой*
- В огненном кольце. *Перевод А. Кушнера*
- Три письма из далекого мая. *Перевод А. Кушнера*
- Сосед. *Перевод В. Андреева*
- Возвращение. *Перевод В. Андреева*
- Почти баллада. *Перевод Р. Добровенского*

Четыре письма из деревни. <i>Перевод А. Кушнера</i>	272
Бесконечный путь. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	278
* Под августовским пебом. <i>Перевод Р. Добровенского</i>	286
Баллада о ливской песне. <i>Перевод В. Андреева</i>	294
Праздник песни в Каунасе. <i>Перевод В. Андреева</i>	296
Антракт в оперном театре. <i>Перевод А. Кушнера</i>	300
* Маленькая поэма о лишних эмоциях. <i>Перевод А. Кушнера</i>	303
* Баллада о вечном старице. <i>Перевод А. Кушнера</i>	310

Аузинь И. О.

**Л93 Стихи: Пер. с латыш.— М.: Худож.
лит., 1987.— 319 с. (Б-ка сов. поэзии)**

Поэтический сборник известного латышского поэта Иманта Аузиня выходит к пятидесятилетию автора. Произведения Аузиня, отличающиеся острым и взволнованным восприятием жизни, многогранными проблематике, насыщены мыслью и чувством, гражданственны.

**Л 4702340200-152
028(01)-87 116-87**

ББК 84Лат7

*«Библиотека
советской поэзии»*

**Имант Аузинь
*Стихи***

Редактор Л. Осипова

Художественный редактор В. Серебряков

Технический редактор Л. Вецкувение

Корректоры Г. Ганапольская, Л. Овчинникова

ИБ № 4709

Сдано в набор 15.05.86. Подписано в печать 21.08.86.
Формат 70×90¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,67+1 вкл.=11,71. Усл. кр.-отт. 13,12. Уч.-изд. л. 9,03 + 1 вкл. = 9,06. Тираж 9 000 экз. Изд. № IV-2459. Заказ 1882. Цена 1 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманская, 19.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

1 p.

2